

ИРИНА АНТОНОВА

# ОСТРОВА ПАМЯТИ



Книга в журнале

# Оглавление

<b>Валерий Лебединский. Мир</b>	Воздушный змей . . . . .	70
Ирины Антоновой . . . . .	Дикий пляж . . . . .	70
Именины бабушки . . . . .	Джемете . . . . .	71
Архиповна и Настя . . . . .	Бабочки осени . . . . .	71
Магия притяжения . . . . .	Вместо эпилога . . . . .	71
<b>МОРЕ</b>	Непридуманные маршруты, или подробный путеводитель . . . . .	72
«Надену я чёрную шляпу» . . . . .	Тени имён на тарусских холмах . . . . .	76
Ветер странствий . . . . .	Крупным планом . . . . .	82
«Белой акации гроздя душистые...» . . . . .	Ветеран . . . . .	86
Доктор . . . . .	Острова памяти . . . . .	87
Рынок . . . . .	«Полон мир теплом, стрекозами...» . . . . .	89
«Руслан и Людмила» . . . . .	Александр Вертинский. . . . .	92
Костюм Маугли . . . . .	«Был я весь как запущенный сад...» . . . . .	96
«Чёрное море моё...» . . . . .	Дачный этюд. . . . .	100
Про маму . . . . .	«Со всех стихов их посвященья снять...» . . . . .	101
Набережная детства . . . . .		
Парк . . . . .		
Кукла . . . . .		

**Ирина Анатольевна Антонова** родилась в Москве. Выпускница филологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (отделение русского языка и литературы). Много лет посещала литературно-творческую студию «Луч», руководитель И. Волгин. Публиковать стихи начала с 1975 года в журналах «Новый мир», «Юность», «Студенческий меридиан», «Сельская молодёжь», журнале «Поэзия», в альманахах «День Поэзии», «Истоки», «Муза» и во многих коллективных сборниках. Автор шести книг. Поэтические сборники: «Ветер риска» 2005 г. РифРой, «Братец-клён» РифРой 2007 г., «Розовые тени» книга в альманахе «Истоки» 2007 г. «Древесная книга» Российский писатель 2013 г., «Музыка души» ЛитРес 2020 г. Книга «Тени имён на тарусских холмах», Литрес 2019 г. кроме стихов включает малую прозу. Член союза писателей России. Награждена орденом МГО за вклад в литературу России XXI века.

## Именины бабушки

(из цикла «Праздник многоликий»)

В те давние времена, когда мир за окном виделся не заму́тнённым, а ярким и чётким, как переводная картинка, долгожданное лето пахло шиповником, а от чистого морозного воздуха захватывало дух, на окраине Москвы в сером четырёхэтажном доме, построенном пленными немцами, жила семья. Жизнь маленькой девочки с её нехитрым ежедневным укладом чем-то напоминала привычное и монотонное жужжание швейной машинки. И только праздники вносили яркие краски. Сегодня именно такой день: 17 декабря, святая Варвара. Бабушка, как все старые люди, отмечала не дни рождения, а именины.

Мама сидит перед зеркалом, пудрит лицо и подкрашивает губы. Папа читает газету. Девочка понимает важность минуты и не мешает.

«Иди, поиграй у подъезда», — предлагают родители.

Она послушно выходит. Во дворе никого нет. Звёздное небо над головой и высокие сугробы словно усыпаны блёстками. Неожиданно из темноты возникает мужской силуэт, и молодой хриловатый голос интересуется, сколько ей лет и как её зовут. Если б она была старше, то поняла бы, что молодой человек попросту «перебрал» и ему до зарезу хочется с кем-нибудь пообщаться. С щедростью подвыпившего он обещает, что, когда она вырастет, то непременно превратится в красивую девушку и тогда... Девочке нечего было скрывать от родителей, но почему-то об этом разговоре с незнакомцем ей не хочется рассказывать. Это была её первая маленькая тайна. Ну, вот и родители: мама с подкрашенными губами, в шляпке и ботинках на каблуках, пышный хвост черно-бурой лисицы свешивается с плеча. Чернобурка — папин подарок.

Мама наряжается нечасто. Папе и девочке нравится, когда она при «полном параде», и в голосе звонкие нотки. А папа ходит в одном и том же пальто осенью и зимой, он мужчина, ему не важна красота, а согреться он привык быстрой ходьбой.

На фронте ему приходилось спать в болоте и на снегу, вместо матраса еловые ветки стелил — и ни разу не простудился!

Мама еле согласилась поехать в гости, поскольку часто не в настроении. Она говорит, что невозможно работать, воспитывать ребёнка (девочка ходит в детский сад), заниматься хозяйством и следить за собой. Здоровье у неё подорвано с юности...

Бабушка живёт в самом центре, у Белорусского вокзала, и добираться до неё очень долго. Надо дожидаться трамвая, потом метро с пересадкой. Девочке нравится метро, особенно кольцевая «Октябрьская», где чугунная решётка

просвечивает голубым. Девочке кажется, что там небо, а решётка — это ворота в парк. Она не понимает, почему взрослые устают ездить в метро, жалуются на давку и духоту. Наконец, выходят на «Белорусской». Прямо перед ними огромные женщины в валенках, закутанные до бровей в серые пуховые платки, хлопают руками в брезентовых рукавицах и катят ящик с мороженым. Ни дать ни взять — снежные бабы. Мороженое на лотке, завёрнутое в малиновую, зелёную и фиолетовую фольгу, напоминает ёлочные игрушки. У девочки больное горло, и ей не покупают мороженое. Она тайком завидует счастливым детям, которые в любой мороз грызут эскимо прямо на улице.

По дороге заходят в большой угловой магазин за тортом. Пахнет свежемолотым кофе. Девочка после ледяного воздуха с наслаждением втягивает тёплый, чуть будоражащий запах пряностей. Глаза разбегаются от кремово-шоколадного изобилия. Покупатели интересуются «Золотым и Серебряным ярлыком». Девочка не знает, что речь идёт о марке великолепных кексов. За свою короткую жизнь она многое не пробовала. Торт выбирают долго. Маме нравится ванильный с грибочками, девочка любит трюфельный, папа согласен на любой. Наконец, вспоминают, что любимый бабушкин торт — «Ленинградский», его нести и вручать доверяют девочке. Поднимаясь по лестнице, она предвкушает, как бабушка громко обрадуется им и торту. В бабушкиной просторной квартире с высокими потолками праздничная суматоха и тарарам. Уже некуда вешать пальто. Бабушка мечется от гостей на кухню: не подгорел бы её фирменный капустный пирог... А вот и дед, совсем седой, чисто побритый, опирается на палочку... Бабушка — шумная, говорливая, пылкая в проявлении чувств, а он тихий, молчаливый... Известно, что в молодости он был очень красив: высокий, голубоглазый, с тонкими чертами лица, с кудрями червонного золота — родом из Мещерского края, земляк Есенина. Бабушка до сих пор в него влюблена... Из детской, давясь смешком, выходит стройная светловолосая женщина — это папина старшая сестра. Ей сорок лет, у неё трое сыновей, заботливый муж и ответственная профессия: инженер-строитель. Удивительно. Сорок лет так много, а она звонко смеётся, ямочки на щеках, и всё время шутит. «Раздевайте вашу принцессу», — это она про девочку. Они с мужем тоже хотели девочку, но родились только мальчики...

В прихожей ярко пахнет духами «Красная Москва». А мама любит «Манон». С незапамятных времён девочка помнит нежный запах, с едва уловимой горчинкой. Мама каждое утро даёт ей в садик надушенный платок... Белые весенние нарциссы так же пахнут. Мама почти всегда серьёзная, и улыбка у неё грустная, чуть-чуть рассеянная... Бабушка кому-то говорила про неё: иностранка. Кто-то из маминых предков приехал давным-давно в Россию то ли из Польши, то ли из Германии, а может, из Франции? Но какая же она иностранка, если говорит по-русски и читает девочке сказки Пушкина. Дверь

в детскую, где стоит ёлка, увешанная шарами и картонными игрушками, открывается, и она с радостью видит трёх своих двоюродных братьев. Старший совсем взрослый, 15 лет, по словам бабушки, вылитый дед в молодости, поспешно уходит: к нему зашли одноклассницы Люся и Наташа, и, пока накрывают стол, они ставят пластинки и танцуют. Средний и младший готовы принять девочку в свою компанию. Среднему — Ване — одиннадцать, на бледном лице очки, в четыре года он самостоятельно научился читать и теперь глотает книжку за книжкой. Он не знает, о чём беседовать с дошкольницей, и предпочитает молчать. У семилетнего Шурика абсолютный слух, все говорят, его можно обучать игре на скрипке. Шурик встаёт, делает серьёзное лицо, хмурит брови и, копируя профессиональных чтецов, выдаёт экспромт: «В голове вошь — очень хорош!». Девочка потрясена. Общение завязалось, но в самый интересный момент зовут к столу.

Бабушка ни за что не хочет расставаться со своим, из прошлого века, столом, длиной во всю комнату, на толстых слоновых ножках. Все рассаживаются. Все — это её родня. Как её много! Дяди, тёти — родные, двоюродные... В каждом доме на праздник свои угощения. В бабушкином это: капустный пирог, винегрет, густо усыпанный зелёным луком, языковая колбаса с фисташками, обёрнутая в нежнейшее сало, и непременно — селёдка. В папином детстве, когда жили впроголодь и покупали продукты по карточкам, он пообещал бабушке, что, когда вырастет, подарит ей селёдку величиной с дом. Взрослые пьют из рюмочек розоватый портвейн, чокаются друг с другом и — говорят, говорят, спорят, доказывают что-то. Кто-то наливает дедушке напиток покрепче. Бабушка немедленно забирает стопку и категоричным тоном заявляет: «Васеньке нельзя». Чтоб не обижать гостей, она готова принять удар на себя...

Девочке многое непонятно, ей не интересно вникать во взрослые разговоры. Она разомлела от шума, духоты и разнообразия впечатлений. Наконец, мама встаёт: «Ну, нам пора, завтра же на работу». На девочку напяливают шубку и уводят. Она упирается. Ей хочется спать.

На площади перед Белорусским вокзалом холодно и пустынно.

«Давай возьмём такси», — предлагает мама. Папа ловит такси. Сонную девочку запихивают в машину на колени к маме. Изредка она просыпается от яркого света встречных машин. Большая нарядная ёлка, убранная мишурой, и зимняя карусель с заочевенными снежными бабами с малиновым эскимо в руках снова проплывают перед глазами...

Праздник многоликий, как волшебное кино, прокручивает отдельные фрагменты и уходит навсегда в глубины подсознания. Девочка роняет голову и улыбается во сне.

Четверть века спустя почти все участники этого счастливого семейного застолья ушли в лучший мир. В лучший или нет, никто не знает, но в сердце выросшей девочки они по-прежнему живы:

В день ангела бабушки нашей  
У внучки забот полон рот:  
Как выбрать вкуснее и краше  
В Филлиповской булочной торт.

И дед осторожной походкой,  
Побрившись, выходит к гостям:  
Как день угасающий, кротко  
Он чуть улыбается нам.

А после семейные сцены:  
Знакомство внучат и возня.  
Три брата моих — три кузена  
Вкруг ёлки обводят меня.

Родные и слева, и справа —  
Морозная темь за окном.  
В таком же счастливом составе  
Уже не собраться потом.

Пальто отрясают в передней,  
И снова протяжный звонок.  
Старушка, не снявши передник,  
На детский спешит голосок.

Команда надёжная в сборе —  
И можно на вёсла налечь!  
Так жутко, так весело в море —  
И скрыта до времени течь.

### Архиповна и Настя, 26 июня 2016 г.

Архиповна была старушка маленькая, морщинистая, с тощим пучком седых волос на затылке и при этом не по возрасту живая, сноровистая и острая на язык. Про неё мне рассказывали родители. В Москве в те достопамятные времена няни по уходу за детьми были в большой цене. Отпуск по случаю рождения ребёнка предполагал 3 месяца, а, как известно, бабушка есть не в каждой семье... Папа настаивал, чтобы мама вышла на работу, отнюдь не из-за её символической зарплаты. Он полагал, что ей будет хорошо в кругу милых интеллигентных людей, где её ценили за широту интересов и тонкий художественный вкус. Работали они в одном из лучших в Москве академических институтов с устоявшимися традициями, вместе в обеденный перерыв ходили в столовую.

Архиповну, несмотря на её почти 80 лет, рекомендовали как отменную прачку. Свою карьеру она начала ещё до революции у купцов. Но у каждой медали, как водится, две стороны. У Архиповны была своя хорошо отлаженная система по закаливанию младенцев. Она ловко смиряла меня свивальником (гарантия, что ножки не искривятся) и выносила гулять по любой погоде, нередко пятки мои зимой торчали наружу, но, тем не менее я у неё не простужалась. Вместо оставленного прикорма давала тряпочку с нажёванным

хлебом, и злые языки утверждали, что мой здоровый сон продлевался не без помощи маковой настойки. Иногда её навещал внучатый племянник, молчаливый подросток с иконописным лицом, кажется, сирота, ему она и передавала кульки с крупами, полагая, что доверчивые, вечно занятые хозяева никогда не проверяют свои скудные запасы... Любимым её занятием было пить на коммунальной кухне крепкий до горечи чай с чем-либо вприкуску и с высоты опыта поучать товарок. Свою преемницу Настю, которая не без крестьянского лукавства посетовала, что не умеет готовить по-городскому, Архиповна напутствовала следующим образом: «В деревне жила? Жила. Свиньям варила? Варила. А им и подавно сварить!»

Нахлынувшие из разрушенных деревень обездоленные молодки, как в своё время продавщицы из рассказов О. Генри, искавшие миллионера, мечтали устроиться не нянькой к ребёнку, а домработницей к овдовевшему полковнику, а то и к генералу: сначала экономка, а потом и гражданская жена... Брать молодую деревенскую девчонку мама не хотела. На её глазах у соседней гулящая, разбитная Валька запирала ребёнка и бегала на свиданья. Видели, как она развлекается с солдатами, отпуская коляску по наклонной дороге, чтобы солдатик её героически ловил.

Случай привёл к нам Настю. Была она статная, степенная, лет за пятьдесят, голова обвязана косынкой узелками наверх, речь певучая, неторопливая, с особым смоленским выговором. История её типична для того времени. В тридцатые годы всю её большую работающую семью раскулачили и сослали в Сибирь. Из родни осталась только младшая сестра с ребёнком. Настя изредка ездила к ней в Люблино. Сама Настя замужем не была, несмотря на свою явную привлекательность даже в пожилые годы. По выходным в свободную минуту, медленно шевеля губами, Настя пыталась читать писание. Меня она учила молиться и целовать крестик. Стоило мне помолиться при няне, как я находила на полу серебряную монетку... Только позднее я догадалась о природе их зарождения в нашей квартире... Мои крещённые родители, воспитанные на христианских ценностях, знали о сотрудничестве советской церкви с КГБ, тайна исповеди нарушалась, и, возможно, поэтому меня не крестили... Настя прижилась у нас и стала почти членом семьи. Спала она на топчане в коммунальной кухне, вставала чуть свет. Мама даже обижалась, что я никогда не плакала, когда она уходила на работу и на целый день оставляла меня Насте. Няня меня не ругала, не поучала, не старалась привить хорошие манеры. На первом плане у неё было хозяйство, а потом уже — я. Крепкая крестьянская закваска давала себя знать. Время было послевоенное, с продуктами случались перебои даже в столице. Няня предложила держать кур и завести поросёнка. Это было вполне реально. Рядом был Институт генетики имени Лысенко, и можно было приобрести выбракованных цыплят. Мы жили тогда за Свалочным шоссе: «Где

ветер неприкаянный за Свалочным шоссе, мы жили на окраине, в зелёной полосе». Это в студенческие годы меня охватила ностальгия, и я написала песенку «Об окраинной Москве». На задворках Москвы, на пустырях и в оврагах лепились голубятни и сараи. Некоторые из бывших деревенских ухитрялись держать корову... Каждое утро сын знакомого водителя самосвала и по совместительству сапожника приносил молоко в бидоне. Однажды, с головой уйдя в хлопоты, няня забыла меня накормить. Двумя пригоршнями я зачерпнула из чугунка, спрятанного под плитой, круто сваренное для кур пшено.

Иногда в синие зимние сумерки няня сажала меня на санки и везла в тридцатое царство. Поездка по неотложным делам превращалась в сказочное путешествие. Заиндевелый наст снега отливала серебром, полозья скрипели, и зачарованные деревья словно указывали дорогу... Няня открывала тяжёлый навесной замок. Поросёнок, хрюкая, вырывался на свободу, и пёстрые куры во главе с огненным красавцем высыпали на снег. Куры мне тогда казались осмысленными существами. Одна моя рыжая любимица несла золотисто-коричневые, необыкновенно крупные яйца с двумя желтками. А курочка-наседка с грязновато-белыми перьями прихрамывала и была на удивление невзрачна. За покупками няня тоже возила меня на санках. Это были убогие деревянные строения по сельскому типу, где на прилавках неизменно стояли эмалированные лотки с квашенной капустой, томатной пастой и зелёным луком попеременно с землёй.

Однажды в возрасте 3–4-х лет, листая старый истрёпанный букварь и наткнувшись на портреты вождей революции, я ляпнула первое, что пришло в голову: «Сталин — дурак...» И вдруг увидела на лице няни неподдельный ужас. Она стала молча креститься и задвигать шторы. А мне погрозила пальцем. Уж она-то хорошо помнила сталинские законы о колосках и детской ответственности. Как-то, засыпая, я услышала явно не для моих ушей предназначенный, рассказ няни. В их деревне многие поверили, что наступает конец света... Недели длинные белые рубахи, кресты, легли в загодя заготовленные гробы, руки на груди сложили и стали ждать... Час, два, три, пока кто-то не захотел встать по нужде.

Настя не была ни жадной, ни корыстной, но подарки к праздникам любила — как дань уважения к своим заслугам. Причём дарить надо было не только на революционные праздники, но и на религиозные, которым несть числа. Иногда проверяла хозяина на щедрость: «...а машинку швейную подаришь?». Она почти не тратила заработанных денег, так как жила в семье. А маме приходилось туго, её и отцовской зарплаты едва хватало, чтобы сводить концы с концами, иногда приходилось занимать у няни. Снимать дачу они также не могли, но жизнь подсказала выход... Научная группа, где работала мама, летом выезжала на объект в район будущего Обнинска. Его только начинали строить. В этой бездорожной

глухомани можно было за бесценок снять домик лесника прямо на опушке. Два или три года подряд меня вывозили на всё лето в «Трясь» или «Чёрную грязь». Названия деревушек говорили сами за себя. Сборы превращались в эпопею. Заказывали грузовик для домашнего скарба и брали с собой клетки с курами. Теперь, по прошествии прожитых лет, мне хочется опять и опять вернуться в то блаженное время раннего детства, когда границы собственного я и жизни природы были почти неотделимы. Мама на работе, а мы с няней на целый день уходим за грибами. Лес она знала и любила бесконечно. От неё мне передалась эта возрастающая с годами любовь ко всему сущему и живому. Четверть века спустя, когда я случайно наткнулась на знаменитое стихотворение И. Бунина «И цветы, и шмели...», меня накрыло с головой то самое чувство земного родства, что я уже когда-то испытывала в младенчестве во время наших долгих блужданий по волнам цветущего луга, мимо полей гречихи, но только не знала ему названия. Воистину когда-нибудь: «И забуду я всё, и припомню лишь эти межевые пути меж колосьев и трав...» Няня научила меня собирать грибы. Кроме общеизвестных, типа лисички-опята-подосиновики-подберёзовики, она знала сотни местных названий, где и как растут, как заготовить. Всю зиму у нас на кухне стояла кадка с солёными грибами. Родители особенно любили отливающие зеленью маленькие крепкие чернушки.

По дороге няня как бы невзначай срывала целебный подорожник, сообщала, что самая крупная и вкусная земляника прячется в траве белоус, пригнись — увидишь, а заросли розово-сиреневого Иван-чая растут на пепелище... С её слов я запоминала названия лесных растений, попадавших на глаза в начале лета: кукушкины слёзки, куриная слепота, мышиный горошек, купальницы, повелика, вороний глаз, и незадолго до осени — невероятно затейливые серёжки бересклета и алые запретно-зазывные волчьи ягоды. При сборе грибов время не чувствовалось. Мы могли бродить без усталости долгие часы. Забирались в чащу, спускались в овраги, няня шутила — «леший водит», выбирались на просеку, кружили по роще. Это же ни с чем не сравнимое удовольствие — высмотреть бархатную шляпку гриба, вытянуть его за толстую плотную ножку, перевернуть и залюбоваться сливочной чистотой изнанки. К концу дня ладони становились чумазыми, в тёмно-зелёных разводах, с трудом отмывались, но, Боже мой, как они чудесно пахли: травяным соком, прелым листом, хвоей и ещё чем-то необъяснимо-лесным. Брать в руки крошечных ярких лягушат, спящих под ногами и прыскающих в траву, няня не разрешала, пугая бородавками. Однажды она извлекла палочкой из-под коряги огромного сонного ужа и указала мне на его золотую отметину на шее. Оказывается, так просто не путать его с гадюкой и не обижать зря.

Набрав полную корзину, няня выходила на опушку и садилась под деревом перебирать грибы, а я убежала за шишками. Маленькие ёлочки, на удивление,

совсем не колются. Игрушечные шишки — нежно-зелёного цвета, словно слеплены из воска, мне нравилось катать их в ладонях и носить в кармашках как талисман. Чтобы остановить мой грибной азарт и вывести из леса, няня говорила примерно одну и ту же фразу — «Надо и другим оставить...» Аргумент железно действовал...

От няни я перенимала все её смоленские просторечные обороты. Мама долго боролась с моими словечками типа: лежа, седя, боюся. Она была поборницей безукоризненно правильной литературной речи. Но были слова и выражения, которые неожиданно её восхищали: ведро полное срезь, то есть с верхом, или платок сорочьего цвета — белый в чёрную крапинку. Из поговорок и прибауток Насти в наш обиход вошли две: «корова и курочка — стоговит и дурочка» и ещё — с грубоватым деревенским юмором и насмешкой: «красавица без волос, румянец во весь нос!»

Одним из ярких детских воспоминаний стали страшные первозданные грозы того далёкого лета. Мы были с няней совсем одни в маленьком деревянном доме на краю леса. Грозы обычно случались к вечеру. Няня задолго могла их предсказать. Она захлопывала окна, запирала дверь, чтобы не влетела шаровая молния. Вёдра и тазы нарочно не заносили в дом, чтобы набралась для мытья мягкая и полезная дождевая вода. При каждом ударе грома няня начинала истово креститься. Ей казалось, что это Бог гневается. Мне передавался нянин страх. От частых вспышек молний хотелось зажмурить глаза.

Гулкий шум падающих с неба тяжёлых струй сотрясал стены.

Няня была суеверна. Приметы становились частью нашего бытования. «Тьфу-тьфу, с гуся вода» — это когда меня мыла или умывала из ручной мыльницы. Видя мои слабые, похожие на пух волосы, няня предложила обрить меня наголо и обязательно зарыть сбритые волосы в землю, чтобы ворона не унесла моё счастье. На новолунье, она говорила, надо достать любую монетку, хотя бы гривенник, и «взять её на зубок», чтобы деньги водились... Совсем неожиданно, когда мне исполнилось пять лет, родители рассчитали Настю. Она навсегда ушла из нашей жизни. Не знаю, в чём истинная причина такого скоропалительного решения. Скорее всего, финансовые проблемы, родители были больше не в состоянии содержать няню. Им предложили для меня место в хорошем детском саду.

Теперь уже, в возрасте старше тогдашнего Настиного, с нежностью и благодарностью её вспоминая, мне захотелось хотя бы в слове запечатлеть её образ...

Сами собой всплыли строки Е. Евтушенко из программного стихотворения памяти Ахматовой: «Лежала, как готовилась к венцу, устав стирать, мести, скрести и штопать, крестьянка по рукам и по лицу, а, впрочем, домработница, должно быть...» Есть у меня слабое утешение, что, может, теперь

душа Насти, наконец, нашла своё пристанище под яблонькой с золотыми яблочками, той самой, о которой она рассказывала мне в детстве, растущей в раю...

## Магия притяжения

Сколько себя помню, в доме у нас всегда звучали стихи, вернее, отдельные особенно запомнившиеся и полюбившиеся строфы. Некоторые из них были ещё явно дореволюционного происхождения, родители усвоили их в раннем детстве и как фольклор донесли до меня. Имя автора в потоке времени забылось, но стихи от этого не потеряли свою прелесть. Особенно мне нравился папин пересказ «Собачки Бум»: «У бабушки-забавушки собачка Бум жила, однажды Буму бабушка пирожных напекла. Глядят, а мышки съели всё, пирожных больше нет...» Кончалась история тем, что бабушка собралась в чужой далёкий край: «Ну, Бум, прощайся с детками и шапочку снимай». Намёк на вынужденную эмиграцию. Чьи эти строки? А вот из маминого детства: «Я – Стёпка-растрёпка-хрю, я свиньям похлёбку варю. Нет в мире похлёбки вкусней, не веришь — спроси у свиней». Саша Чёрный?

В дремучий лес русской сказки погружала папина присказка, неведомо откуда им почерпнутая, возможно, от его отца — уроженца Мещерского края: «В камышах шишикает шишига. Не купайся, сгинешь за копейку. Дал шишиге хлеба я ковригу. А она — дулейку». Только теперь, благодаря компьютеру, я узнала, что строки эти принадлежат расстрелянному в 1938 году, незаслуженно забытому в наше время, крестьянскому поэту Петру Орешину. «Кто едет, кто мчится под холодной мглой? Ездок запоздалый, с ним сын молодой». Зима, за окнами темно. Ледяной узор на стекле. Температура у меня никак не снижается. Мама ставит мне горчичники и велит терпеть. Она открывает тонкую серую книжицу с пометкой Детгиз и начинает читать. Я не чувствую жжения, я вижу только всадника с ребёнком, сплетённые кроны деревьев, выпирающие узловатые корни... Дорога удивительно знакома, там ниже река...

Первое лирическое стихотворение, вызвавшее одновременно восторг и слёзы, было знаменитое: «Колокольчики мои, цветики степные...». Я впервые ощутила, что душа буквально в плену этих неизъяснимо прекрасных строк, создающих иллюзию полёта. В этом стихотворении есть тайна. Положенное на музыку, оно превратилось в музыкальный шедевр. Вообще, у нас дома очень любили этого не популярного в советское время поэта. Первое впечатление о народовольцах я почерпнула из полемической баллады А. К. Толстого «Порой весёлой мая шли по лугу два лада», написанной в псевдонародном стиле. В классе шестом учительница пения хотела подготовить со мной мело-

декламацию маленького хрестоматийного стихотворения «Осень, осыпается весь наш бедный сад, Листья пожелтые по ветру летят...». Стихотворение мне безумно нравилось, я чувствовала его необычайную музыкальность, но, к моему стыду, у меня не получалось следовать за аккомпанементом. Пришлось расстаться с этой затеей.

Теперь, почти через полвека, я с благодарностью вспоминаю свой первый учебник по литературе — «Родную речь». Как тщательно и любовно составлялись хрестоматии для начальной школы. Какой строгий отбор прошли знаменитые авторы. Их строки должны были завоевать неискущённое детское сердце, привить ему чувство добра и красоты. Каждое стихотворение было открытием, вызывавшим радость узнавания. Именно с этих прозрачных гармоничных строк, посвящённых временам года, начиналась любовь к родной земле и формировалось национальное самосознание. Если «Солнце нашей поэзии» можно уподобить верховному божеству, то остальные во всём их множестве и разнообразии — духи природы. Среди них и крестьянские поэты, и поборники «Чистого искусства»: Мей, Майков, Тютчев, Алексей Толстой, Плещеев, Фет (всех не перечислить) — драгоценная россыпь Золотого века, бережно передаваемая от поколения к поколению. Не случайно в грустные моменты жизни, как формула надежды, само собой всплывает: «Из царства вьюг и снега, так свеж и чист, твой вылетает май» или «Повисли перлы дождевые, и солнце нити золотит». Настоящая поэзия, как музыка Моцарта, вне времени... «Печаль моя светла», если вспомнить пушкинское всеобъемлющее определение состояния души.

Хочется признаться в горячей детской любви ещё к одному стихотворению. Без него не будет полной ни одна книга для чтения в начальной школе. Я имею в виду стихотворение И. Сурикова «Детство». Магия притяжения, явленная в незамысловатых строчках: «Ветхую шубейку скинешь с плеч долой...» и дальше: «И начну у бабки сказки я просить, и начнёт мне бабка сказки говорить», — одинаково завораживает взрослого и ребёнка. Мне кажется, что память о земле, где мы живём, о национальном характере — даётся с рождения. В суете мы этого не помним, но есть мелодии и строки, способные её пробудить. Никто не скажет наверняка, что такое поэзия, из чего она растёт, перефразируя Анну Ахматову, но она здесь, в самом дыхании нашей «жизни тленной, тленной и прекрасной».

## МОРЕ

### Надену я чёрную шляпу

В доме царили суматоха и чемоданное настроение. Папа время от времени, чтобы разрядить обстановку, комментировал события с опереточным пафосом:

Надену я чёрную шляпу,  
Поеду я в город Анапу...

Мама решила за год до школы вывезти меня на всё лето к морю. Врачи настаивали на удалении гланд, а для этого надо было укрепить организм, желательно в Анапе. Ради моего здоровья мама была готова на любые жертвы. Она сумела занять деньги на поездку и с великим трудом добилась на работе отпуска за свой счёт.

### Ветер странствий

В поезде мы ехали двое суток в одном купе с маминой сослуживицей А. В. и её двумя детьми. Было весело, и время текло незаметно. Мамы раскладывали на откидном столике крутые яйца и бутерброды. Мне нравилось выбегать в коридор, прижиматься к окошку и подставлять лицо навстречу горячему ветру. Может, отсюда пошло выражение «Ветер странствий»? Спать меня уложили на одной полке валетом вместе с Аллочкой, старшей дочерью А. В.

### «Белой акации гроздь душистые...»

Трудности начались по приезде. Снять комнату на юге в сезон было тогда почти невозможно. С маленькими детьми не хотели пускать. Всё осложнялось ещё тем, что мама болезненно переносила жару. Превозмогая надвигающуюся мигрень, в спасительной шляпе с широкими полями, с неподъёмным чемоданом, мама стучала в очередные ворота, — и мы шли дальше. При каждом порыве ветра подымалась пыль, и нас накрывала душная волна цветущей белой акации, которая здесь росла почти у каждого дома.

### Доктор

В конце концов, комнату «не близко от моря» мы нашли. Но тут, как назло, я заболела каким-то непонятным гриппом с температурой. Мама разузнала адрес врача и пригласила ко мне частного доктора. Это была немолодая интеллигентная женщина, видимо, из «бывших». В Москве я панически боялась врачей из поликлиники, а к этой сразу почувствовала доверие...

## Рынок

Едва светало. По прохладному воздуху мама уходила на рынок. К моему пробуждению из корзинки торчали тощие шеи колхозных цыплят для бульона или влажный хвост кефали, только что выловленной из моря, и главное: среди персиков, обёрнутый в газету, лакомый кусочек чёрной паюсной икры от местных контрабандистов.

## Руслан и Людмила

Каждый вечер я с нетерпением ждала, чтобы мама прочла мне на сон грядущий очередную главу из «Руслана и Людмилы». У мамы был «свой» толстый однотомник Пушкина, в строгом чёрном переплёте, выпущенный к столетию со дня гибели поэта. Тонкие страницы от времени пожелтели и переворачивать их надо было с большой осторожностью. Мама практически с ним не расставалась. Пушкин был выигран ею на школьной олимпиаде... Картинок в книжке не было, но все происходящие чудеса были настолько убедительны и зримы, что иллюстрации не требовались: перед глазами роились то говорящая голова, то бани, где нежился витязь, то испуганная Людмила, пока облако сна окончательно не обволакивало сознание. Лёгкая ирония маминой интонации не мешала мне воспринимать драматические коллизии сюжета. После окончания поэмы я испытала что-то похожее на досаду от вынужденного расставания с героями. Испив живой воды пушкинской поэзии, я навсегда запомнила её хрустальную чистоту и неподдельный вкус.

## Костюм Маугли

Белый зыбучий песок обжигает ноги, полуголые человеческие тела преграждают дорогу. Мама решительно сняла с меня платье, только на голове панамка, я — в костюме Маугли. Забытое чувство наготы вернуло мне первозданное сознание родства с каждым земным существом от мала до велика. Я — всего лишь одно из тысячи растений под солнцем. Наверное, так себя чувствовали первые люди в раю.

## «Чёрное море моё...»

Какое оно огромное, прозрачное вблизи. А там, дальше, взрослые говорят, турецкий берег. Тот самый, из песни: «...не нужен мне берег турецкий». В некоторых местах пляжа у самой воды какое-то зелёное месиво с отвратительным запахом. Мы его брезгливо обходим. Мама смеётся — водоросли. Обмотав голову полотенцем, чтобы сразу после купания насухо меня растереть, мама завела меня в море по подбородок и, слегка придерживая, положила на воду. На расстоянии вытянутой руки, пронизанные лучами, прозрачные как льдины, скользят медузы, иногда они задевают мои ладони.

## Про маму

Мама не была спортивным человеком, но плавала прекрасно, так как выросла на берегу Тихого океана в далёком и загадочном Владивостоке. Без всяких резиновых кругов она за считанные дни обучила меня элементам брасса. Тогда же в Анапе она случайно спасла жизнь тонущему мальчику. Заплыв за буйки, она вдруг услышала отчаянное: «Помогите, помогите!» Ни секунды не сомневаясь, поплыла на крик и увидела, как мужчина одной рукой тщетно пытался вытянуть ребёнка, ушедшего под воду. Мама подплыла с другой стороны, и вместе им это удалось. По иронии судьбы люди на берегу приняли её за мать мальчика и стали порицать, зачем она рисковала жизнью ребёнка.

## Набережная детства

Каждый вечер после купания мы с мамой гуляли по набережной. Шёлковые наряды, голые плечи, пряные веянья деревьев и шум прибоя складывались в незабываемое понятие южной ночи. Мы с мамой — тоже частица этой ночи, одна из составляющих её ауры. Иногда мы заходили в маленький сувенирный магазин, больше всего мне нравились выставленные на витрину ракушки, хотелось заглянуть в их перламутровую глубину и расслышать нескончаемый гул моря. Это был период дружбы с Китаем, и прилавки ломились от непривычно ярких, радующих глаз китайских вещей: махровые полотенца, тазики с бабочками, термосы и шёлковые зонтики. До сих пор на дне старого шкафа лежит мамин розовый зонтик от солнца, частица её души. Прошлое оживает. Зонтик, подобно пиону, расцветает над её головой. Розовые тени ложатся на бледное лицо. Живопись импрессионистов, модели Ренуара... Папа прозвал этот зонтик «Алыми парусами».

В этом же магазине мама выбрала в подарок доктору, вылечившему меня, веер из сандалового дерева, расписанный фигурками японок.

## Парк

По дороге к морю мы проходили через маленький пыльный парк с атрибутами победы над турками. На постаменте стояла чугунная, внушительных размеров пушка, до блеска отполированная не одним поколением «лихих наездников» из числа детей, желавших её оседлать. Крутились карусели. В памяти отпечаталось, как в тёплых лучах заката у клумбы с засохшими цветами танцевала немолодая цыганка вместе с маленькой босой девочкой. Тоской бродячей жизни веяло от их танца.

## **Кукла**

Однажды я уговорила маму зайти в молочное кафе. Посетителей не было. Мы сели за столик: я, мама и кукла Светлана с ручками и ножками на резинке. Каждый на своём стуле. Игрушки мне дарили не часто. Я мечтала о настоящей немецкой кукле в платье из голубого атласа, которая умела закрывать глаза, и можно было потрогать щёточки ресниц.

Немного перекусив, мы вышли из кафе, дойдя до поворота, я спохватилась, а где Светлана? Прошло не больше 5 минут. Уборщица протирала пол. Официантка убирала посуду. Никто не видел моей куклы. И тут я поняла, как плохо и одиноко мне будет без моей Светланы. Кто же всё-таки её забрал? Как выглядит этот нехороший, нечестный человек?

## **Воздушный змей**

В августе, как обещал, приехал папа, весёлый, энергичный, с анекдотами и рассказами о фестивале. Торжественно раскрыв громоздкий чемодан, извлёк оттуда кучу подарков. Это были всевозможные китайские фонарики и фигурки из раскрашенной бумаги. Весь наш размеренный режим с папиным приездом полетел к чертям. Папа хотел высыпаться и ходить на пляж в любое время. Жара ему не мешала.

Мама, по старинке, в свободные часы обучала меня рукоделию. На листке в клеточку рисовался цветок, а я должна была обвести контуры ровными стежками. Правильно пользоваться иглой у меня никак не получалось, и это крайне раздражало маму. Вместо вышивания папа предложил научить меня запускать воздушного змея. Три дня он его старательно клеил. Сбежались все окрестные мальчишки, когда самодельная конструкция стала набирать высоту. При каждой совместной прогулке по городу папа старался преподать мне математические азы: вот эти улицы параллельны, а те перпендикулярны, то есть под прямым углом.

## **Дикий пляж**

С папой мы отваживались ходить на скалистый берег, где когда-то был дикий пляж. Раньше отдыхающие выкапывали там из-под камней целебную глину, которой обмазывались с ног до головы, как туземцы.

Погода испортилась, дует пронзительный ветер. Море мутное, у берега закипает грязная пена, но мы делаем заплыв. Я подымаюсь и опускаюсь вместе с волной, как учила мама. Мне не страшно — родители по краям. Прямо на меня движется всплывшая кверху брюхом большая рыба, видимо, погибшая от шторма.

## Джемете

В переводе с татарского Джемете — что-то вроде райского места. Знакомые родителей предложили выбраться туда на пикник. Ехали до заповедного уголка долго и трудно. За колючими зарослями открылась пустыня с раскалённым песком. Питьевой воды нигде не достать. У кромки моря копошатся маленькие крабы. Везли на всю компанию огромный арбуз. Я увязалась за папой его мыть. Я никогда не пробовала арбузов, только видела на картинках. Арбуз показался мне похожим на большой полосатый мяч. Мне безумно захотелось бросить его в море и посмотреть, как он упруго подпрыгнет. Я разжала руки, он грузно шмякнулся о дно, и рваная розовая мякоть всплыла на поверхность. В то же мгновение мой добрейший папа, не сдержав досады, от души отвесил мне звонкий шлепок.

## Бабочки осени

В последние дни перед отъездом спала жара. На засохших клумбах доцветали неприхотливые цветы вроде бархатцев и петуний. В садах ночами варили персиковое варенье, и дух его витал над городом.

Говорили, что в Анапе целебный воздух, во всяком случае, дышать им было — райское наслаждение. На южном солнце я почернела, и меня нельзя было отличить от местных загорелых ребятишек.

То, что не давалось в Москве, легко получилось на юге: я научилась читать и получать удовольствие от книжек. Кажется, первая прочитанная мной у моря книжка называлась «Бабочки осени» Бианки. Прощаясь с морем, мы допоздна гуляли по высокому берегу над диким пляжем. В чёрном пространстве моря то загорались, то гасли красные огоньки маяка.

## Вместо эпилога

Больше на море вместе с родителями мне побывать не пришлось. Долгие пятнадцать лет детства, отрочества и юности мы отдыхали летом в средней полосе. Я скучала по морю. Иногда мне снился его прибой и качели волн. В одну из ночей вместо подготовки к вступительным экзаменам я грезила морем. Я слышала его плеск и чувствовала горячий песок под ногами. И тогда (от невозможности встречи) родились строки:

И скинув в синеву морскую  
Заботы непосильный груз,  
Я никогда не затоскую  
В краю малиновых медуз...

## Непридуманнные маршруты, или подробный путеводитель

Если на минуту представить, что наши близкие, не дожившие до нового столетия, вдруг воскресли, они бы в растерянности не узнали ни нас, ни города, где жили. Другая цивилизация, другие отношения, всё другое... От разнообразия материального разбегаются глаза. Невольно вспоминается анекдот эпохи застоя: «Что вы нас избытком пугаете, мы блокаду пережили». Наше первое послевоенное поколение сроднилось с двадцатым веком. Иногда волна ностальгии захлёстывает с головой, и я начинаю путешествие по исчезнувшей реальности...

В первые два года жизни родители по выходным возили меня в Кунцево. Там тогда было дачное место и жили дальние родственники со стороны папы. Коляска моя представляла плетёную корзину на колёсах, маме нравилось то, что теперь принято называть «ретро». Однажды в летний зной я так крепко заснула, что мама испугалась, не умерла ли... Три года назад они пережили смерть моей старшей сестры. Дефицитный, добытый для неё из-под земли пенициллин украли в роддоме, правда, роженицу от заражения крови спасли. Душевная рана от гибели первенца ещё кровоточила... На долгие деликатные прикосновения я не реагировала. Тогда папа решил прибегнуть к цирковому трюку — и резко перевернул меня вниз головой. Естественно, я издала истошный крик к радости и гневу мамы: разве можно так обращаться с ребёнком?!

Когда я подросла, меня стали брать в походы по магазинам. Для меня это была прогулка и развлечение. Лучший, в тогдашнем понимании, магазин назывался «Диетический» и располагался в сталинском доме, похожем на крепость (позже я узнала, что строили его заключённые), рядом с будущим метро Ленинский проспект. Там я впервые увидела всевозможные деликатесы: выложенные в формочки паштеты и заливное. Вместо не положенного мне из-за частых ангин эскимо мама придумала альтернативу — глазированный сырок. Но гораздо интересней магазинов были рынки. До сих пор выбраться на рынок для меня праздник. Это не кино, а театральное действо, где есть и герой, и хор, и декорации в зависимости от сезона. В конце 70-х я встретила похожее восприятие в стихах у Е. Горбовской, восхитившей меня ироничной точностью формулировки: «Прийти на рынок без копейки денег, // Понюхать розы и потрогать веник...» Трамвай останавливался у Даниловского рынка. Мы ездили туда за картошкой, так как магазинная была гнилая. Дядька в потёртом ватнике, в ушанке набекрень зычно выкрикивал: «Три кило на рупь!» Папа по-свойски: «Насыпай четыре!». Мама торговаться не умела, самое большее вежливо предлагала, если немного уступите, куплю. Мы ходили с ней по мясному ряду, выбирая недорогую грудинку или рёбрышки.

Осенью закупали яблоки. Непременно антоновку. Твёрдые, зеленоватые, без единой червоточинки плоды выкладывали на тарелку. Дозревая и желтея, они излучали солнечный свет, и незабываемый запах лета витал над ними. Через несколько лет под огромным стеклянным куполом возвели Черёмушкинский рынок. По сравнению с Даниловским он был роскошным. Торговали там в основном южане, тогда не говорили «лица кавказской национальности». Однажды наша соседка стала свидетельницей пикантной сцены: полная блондинка в мини-юбке купила по баснословной цене кулёк с черешней и тут же его просыпала. Пока она подбирала ягоды, грузины с вытаращенными глазами повыскакивали из-за прилавков. За эти считанные секунды их обчистили.

У самого входа продавали цветы: привозные и сезонные подмосковные. Если оставалась мелочь, мама покупала за несколько гривенников букетик ландышей или охапку влажных лесных купав. Ландыши ставили в прозрачный хрустальный стакан, а для веток сирени или жасмина — доставали большой стеклянный кувшин.

Как только наступала осень — та самая, воспетая Цветаевой: «...красною кистью рябина зажглась», — у меня начинался грибной зуд. В первый выходной папа соглашался поехать со мной в Картмазово — всего пять или шесть остановок на электричке. Выходишь — непролазный кустарник: берёзы, осины, ельник. А в оврагах — моховики, и в оранжевой шапочке — подосиновики. Держишь его за крепкую ножку, а она синее и зеленеет на глазах. Сыроежек было видимо-невидимо, но мы брали только самые маленькие. Однажды мой дедушка, по корням деревенский, там же в Картмазово под одним дубом нашёл 25 белых: мал-мала меньше. Обходил медленно дерево и ворошил палочкой мох...

Теперь Картмазово — новая Москва, дочка для свадьбы выбрала именно там недорогой ресторан, ну да: она никакого леса не застала.

В конце февраля и в разгар мая мы ездили с Ярославского вокзала в Лианозово к маминой подруге детства — Танечке Н. Она, как и мама, была родом с Дальнего Востока. Они расстались незадолго до войны и случайно встретились в Москве спустя 15–17 лет. Танечка была замужем за военным. Они занимали верхнюю часть белого элегантного коттеджа. Снаружи дом казался почти замком, а внутри — никаких удобств. На деревянной лестничной площадке — примусы и керосинки, ведро с помоями вниз по лестнице сносить и умываться из рукомойника. Это тебе не Москва...

Диву теперь даюсь, какого труда стоило ей собрать гостей за белой крахмальной скатертью, наготовить всевозможных кушаний на керосинке. Всё, что удавалось достать в магазине хорошего, вроде шпрот и сухой колбасы, откладывала, чтобы потом угостить на славу.

От станции до их дома — дорога через лес. До сих пор перед глазами поплывший снег и вербы по колено в воде, на голых ветках нежные мохнатые

почки в жёлтых тычинках. А в мае мы уезжали от них с неохватными охапками сирени. Она цвела под самыми окнами. Ломали ветки в темноте под звёздным небом, и весь обратный путь в лицо мне тыкались влажные гроздья, и, засыпая, чувствовала их яркий будоражащий запах.

В те времена многие стремились дать детям музыкальное образование. В музыкальную школу меня не взяли... Тем не менее мама решила обучать меня частным образом. Музыка была её страстью. Нашли педагога. Днём она работала, а вечерами давала уроки музыки, чтобы помочь закончить консерваторию дочери — студентке. Т. П. жила в одном из переулков Арбата, как многие тогда, в коммунальной квартире. Однажды в зимние каникулы она пригласила трёх своих учениц с мамами на ёлку. Из тёмного старинного буфета достали праздничные цветные бокалы, кажется, это называлось «венедианское стекло». Туда налили водичку, подкрашенную вареньем. Мы играли по очереди разученные этюды, а Т. П. и её дочь срезали нам с ёлки самые красивые игрушки.

Потом её хрупкая дочь, похожая на фею, самозабвенно играла Шопена, многие педагоги прочили ей блестящее будущее...

Цветные огоньки вспыхивали и гасли в бокалах, при каждом соприкосновении они издавали долгий мелодичный звон. Это было так давно, что иногда мне кажется: этот синий рождественский вечер на Арбате только привиделся моему воображению. Воробьёвы горы, тогда Ленинские, плавно перетекающие в Нескучный сад. «О сад, поистине не скучный! Тебе нет равного в Москве». Сколько раз мысленно я возвращалась на эти горы, сколько сделала попыток воспеть их в годы студенчества... Каждая пядь земли истоптана там моими ногами.

На Воробьёвых горах меня учили кататься на лыжах. Лыжи были только у меня, а папа в вечном демисезонном пальто (зимнего не было) и осенних ботинках бежал за мной следом и кричал: «Не трусь! Согни коленки. Палками сильнее отталкивайся...», — а я, как нарочно, трусила и падала в белый пушистый снег. Лыжи перепутывались, шапка слетала и сами собой приходили первые наивные попытки всё это запечатлеть. «Снегирём моя шапка от встряски, // белым облаком снежная пыль. // Я когда-нибудь вспомню как сказку // Эту давнюю зимнюю бль».

Родители радовались: три часа на воздухе, активный отдых, щёки — розовые, а то всегда бледная. «Парк культуры и отдыха им. Горького» — это наименование вызывало ироническую улыбку родителей: советская напыщенность навязла в зубах. Папа даже по случаю вспоминал довоенный фольклор: «А в Москве народ культурный, у столбов поставил урны, а чтоб урны не украли, их цепями приковали». Он для них навсегда остался «Нескучным садом». Однажды папа решил прокатить меня на колесе обозре-

ния. Выстояли огромную очередь. Кабинка устремилась вверх. Вот мы на уровне высоченного дерева, ещё выше... «Смотри, МГУ, а там Белорусский вокзал...» Кабинка качалась, и меня пугало, что она вот-вот оторвётся. Зато при спуске я почувствовала настоящую радость приземления. Я была в классе пятом, когда на пустыре за школой началась стройка чего-то неизвестного и грандиозного. Вырыли котлованы, навезли строительной техники. Тогда было модно (как много позже, у поколения моих детей — плести «фенечки») делать колечки с розочкой. Делались они из кусочка проволоки в цветной оболочке, на пустыре их целые катушки валялись. Между тем стройка, хотя и медленно, продвигалась. После лета на пустыре выросли первые корпуса Дворца пионеров. На фасаде главного корпуса огромное панно — оранжево-синяя мозаика: пионер с горном. Впечатляющая конструкция из камня, керамики и стекла.

Десятилетия спустя я узнала, что Дворец пионеров возводил единственный в своём роде (дважды лауреат государственной премии) советский архитектор-энтузиаст — И. А. Покровский. По его же плану (возрождение идеи «города-сада») построили Зеленоград, получивший статус Москвы, куда, десятилетия спустя, я переехала после размена квартиры...

Больше всего мне нравился уголок с фонтаном у самого входа. Чёрный журавль на одной ноге стоял в заводи, из его клюва стекали тонкие струйки воды, они орошали маленький островок зимнего сада. Вокруг бассейна с мозаикой — лёгкие стулья из цветного пластика по моде тех лет. Естественно, что те, кто жил недалеко от Дворца пионеров, первыми «заселили кружки». Я рвалась в драматический, мама настоятельно советовала литературно-творческий. Я не представляла, что это такое, хотя уже в начальных классах пробовала писать стихи. Запись в драматический кружок по неведомой причине сорвалась. А с литературно-творческим завязались отношения на всю жизнь. Позже я поняла, что это судьба. Некоторые из наших кружковцев стали знаменитыми, но это уже другая тема. Два раза в году устраивали выступления. Теперь я слышу, как бы со стороны, как мы читаем звенящими от волнения голосами наши первые опыты. Зал со стеклянными перегородками наполнен светом и воздухом оттепели. От зрителей нас отделяет стол, уставленный цветами. В паузах — фортепьянная музыка. Однажды нам устроили выступление в радиокомитете на улице Качалова. Это был прямой эфир радиостанции «Юность»... Педагог — пожилая импозантная дама (до сих пор в ушах её густое контральто) — учила нас выступать. Плечи распрямить! Голову поднять! Донесите до слушателей, что вы чувствуете.

...Её уроки для многих из нас не пропали даром. До сих пор я люблю поэзию «на слух», музыку звучащего слова. Раз в месяц организовывали твор-

ческие встречи. Помню темпераментное выступление Александра Яшина, автографы Льва Кассиля, Василия Гроссмана, отвечающего на вопросы слушателей в маленькой переполненной аудитории.

Ждали с нетерпением знаменитую четвёрку поэтов во главе с Евгением Евтушенко. Особенно мне хотелось увидеть и услышать Беллу Ахмадулину. О них ходили легенды, но они не приехали...

Узнав о моей высокой «страсти», одноклассник подарил мне в седьмом классе сборник Е. Евтушенко «Третья память» с портретом автора на обложке. Прежде, чем я увижу Евгения Александровича живым, в полный рост, пройдут годы и годы. Видела я его мельком всего три раза. Первый раз — в конце 70-х в ЦДЛ. Он заглянул в комиссию по отбору молодых литераторов на совещание — неправдоподобно высокий, с непроницаемым выражением лица. Второй раз — весной в начале 80-х. Мы с мужем отправились в короткое свадебное путешествие в пансионат Агудзере. Три часа перелёта из промозглого московского апреля в разгар абхазской весны. Роща гигантских реликтовых эвкалиптов спускалась к морю. Мы впервые увидели, как эвкалипты сбрасывают кору и она висит лохмотьями на обнажённых розоватых стволах, удивительно напоминающих человеческое тело. Ниже располагался посёлок. Среди лоскутных хозяйственных построек европейским шиком выделялся участок с подстриженной лужайкой и кустами камелий, маскирующих веранду дома. От местных узнали, что это дача поэта Евгения Евтушенко, но он там почти не бывает. Вдруг из-за деревьев вырастает его фигура, и он обращается ко мне игривым тоном. «Вы горянка?» От неожиданности я страшно растерялась и невнятно пролепетала, что нет. Последний раз я видела его на концерте в московском доме кино. Уже не было в живых трёх из знаменитой четвёрки. Меня поразило незнакомое трагическое выражение его лица. Чувствовалось, что его уход не за горами. Читал он по-прежнему ярко и темпераментно. Зал был заморожен... Книжечка с его прелестными ранними стихами, пережив автора, хранится среди самых памятных и дорогих мне книг.

## Тени имён на тарусских холмах

*В очарованье русского пейзажа*  
Н. Заболоцкий

Холодным июньским днём мы долго плыли катером по Оке, вышли на безлюдном причале и очутились на могиле Борисова-Мусатова.

Шёл дождь. На гранитном пьедестале застыла фигура заснувшего мальчика. Мама сказала, что сохранилась легенда о художнике, который пытался спасти утонувшего ребёнка... Наша семья разместилась в маленьком номере

деревянной гостиницы. Мне (девятилетней), выросшей в Москве, захолустная Таруса и городом не показалась: центр с низкими каменными строениями — лабазами прошлого века, со всегдашним скудным ассортиментом, и стихийным базарчиком у автобусной станции... Время, о котором я пишу, позднее окрестили «оттепелью»... Мои родители страстно любили читать... Выписывался «Новый мир». На террасе съёмной дачи обсуждали последние литературные новости. В узком кругу устанавливалась очередь на прочтение нашумевшего произведения. Из закоулков памяти выплывают обрывки взрослых разговоров. Константин Паустовский — «благоуханная проза». Мама любовно хранила его собрание сочинений. Я знала и любила его сказки. «Растрёпанный воробей» и «Тёплый хлеб», пронизанные поэзией, они покоряли с первой фразы... Имя писателя Кочетова упоминалось в связи с организованной в центральной прессе травлей Паустовского. Он уже в это время тяжело болел и постоянно жил на даче в Тарусе, и мама загорелась поездкой, чтобы выразить ему свою читательскую поддержку... Родители сняли бревенчатый сруб над оврагом, неподалёку от местного Дома отдыха им. Куйбышева, возведённого на месте снесённой в пятидесятые годы Цветаевской дачи (лишнее подтверждение того, как тесен мир). Я записалась в городскую библиотеку — читать заданное на каникулы. Началась моя жизнь в Тарусе. На протяжении 17 лет мы жили там каждое лето, обросли друзьями и знакомыми.

Таруса шаг за шагом приоткрывала мне свои тайны... В одно счастливое утро мне довелось прочесть в самиздатовской перепечатке и заучить как молитву: «Свеча горела на столе, свеча горела». До сих пор я ощущаю Тарусу своей малой Родиной и мысленно возвращаюсь к ней — к её холмам с плакучими берёзами и старым вёслам по берегам Оки.

В начале 60-х годов произошло знаменательное событие: в калужском издательстве вышли «Тарусские страницы» — антология прозы и поэзии «оттепели». В этом сборнике были представлены малоизвестные тогда имена классиков советской литературы. Там произошло и моё первое заочное знакомство с поэтом Е. Винокуровым. На всю жизнь запомнились и полюбились удивительно зримые, почти осязательные строки: «По четвергам — купание детей // Раздолье им, хохочущим и голым...», — ещё навсегда врезался в память портрет немолодой женщины, исполненный одновременно и острого сострадания и восхищения: «Висело платье длинное, как сеть, // А брошки были будто бы грузила. // Она ж игриво принималась петь, // Мне пальчиком суставчатым грозила... // Была бы страшной и улыбка та, // И пальчик тот в игривой укоризне, // Когда б не глаз зелёных доброта, // Всё, что осталось от прожитой жизни». Имя поэта Николая Заболоцкого и его поэзия стали моей новой ступенью в постижении духа Тарусы. Знаменитое стихотворение

«Целый день стирает прачка, // Муж пошёл за водкой...» — воспринималось тогда как точная бытовая зарисовка тарусских будней. Это в 90-е оно стало песней. Спустя несколько лет я прочла его поздние пронзительные стихи о любви, от которых до сих пор озноб по коже... «Не весёлая, не печальная, Словно с тёмного неба сошедшая...»

Имя Марины Цветаевой впервые прозвучало для меня с «Тарусских страниц», они её как бы заново открывали для широкого читателя. Помню первое впечатление красоты и «непонятности», точнее тайны, в свои 11 лет я пыталась разгадать и распутать метафорически экспрессивный клубок: «Здравствуй — не стрела, не камень, я — живейшая из жён...» Конец прояснял начало: «Жизнь: распахнутая радость. Поздороваться с утра!».

Второе стихотворение — о смерти дочери Ирины — прозрачное и трагическое, с первых строк задело мою детскую душу: «Две руки — ласкать разглаживать // Нежные головки пышные. // Две руки — и вот одна из них // За ночь оказалась лишняя...» Расспрашиваю у взрослых о Марине Цветаевой — для них это тоже новое имя. Но самое большое потрясение я испытала, когда там же, в «Тарусских страницах», наткнулась на рассказ «Кирилловны». Это была проза поэта, от которой я тогда не имела ровно никого представления: каждая фраза несла свой особый ритм и звучание. Передо мной как бы развернулось полотно чужой жизни, достоверной в каждой детали. Страницы цветаевского детства в Тарусе наполнились красками и запахами лета. Её дорога из Песчаного в Тарусу, описанная в «Кирилловнах» (наш теперешний маршрут): мимо столетней, поваленной грозой ивы, вверх по холму к разрушенной Воскресенской церкви, где бузина и крапива: «Бузина — зелена, зелена, Бузина цельный сад залила!». Неожиданное прозрение... Да это же она так подымалась, и её глазам открывались заливные луга и нескончаемые дали, и той же свободой и ветром веяло с Оки... Время идёт, и постепенно загадочная Марина Цветаева обрастает вполне реальной биографией, и я даже свожу знакомство с её родственниками по боковой линии. Мы живём на Третьей Дачной. На соседнем участке — домик старшей сводной сестры М. Цветаевой Леры — Валерии Ивановны (внучки историка Иловайского), имена и степень родства узнаю позже из прозы Цветаевой («Дом у старого Пимена»). Валерии Ивановне в ту пору было лет 80, если не больше. Кажется, у них были куры, и дачникам можно было купить у них яйца, на калитке висело объявление... Сквозь заросли шиповника песчаная дорожка вела к крошечному ветхому домику. В комнате у круглого стола сидела и что-то писала маленькая женщина в длинной юбке, никто не решился бы назвать её старухой — это была изящная старая дама, справа и слева от неё сидели мужчины её возраста, выражение учливой улыбки не сходило с их лиц. Аура серебряного века на мгновение стала реальностью...

Года через два Валерии Ивановны не стало. Умерла она летом. Хоронить было некому и не на что. Соседи по даче собирали деньги на похороны. Мама и её хорошая знакомая тоже внесли свою лепту.

Были в жизни Тарусы и свои отрицательные персонажи.

На самом спуске к Оке стоял дом некоего Гребенщикова. Поговаривали, что, когда ненадолго немцы заняли Тарусу, он служил полицаем. На некоторых стволах высоких деревьев остались глубокие зарубки или набитые деревяшки со времён немецкого часового дозора. Сколько-то Гребенщиков отсидел, вернулся. С тех пор не любил показываться на люди. Его огромный участок был от всего мира отгорожен густой живой изгородью. Ходили слухи, что каждое лето он использовал труд наёмных работниц и сдавал за бешеные деньги бесчисленные клетушки. Я так за всё время его ни разу не видела. Иногда, когда мы спускались к Оке с моим двоюродным братом, гостившим у нас всё лето, за изгородью раздавалось насмешливое шипение: «тепличные растения...»

Июнь 65 года выдался холодным и дождливым. Мы с мамой часто переправлялись на пароме на другую сторону Оки и совершали пешую прогулку по лесной дороге в сторону музея-усадыбы Поленово. Видимо, дожди способствовали небывалому количеству ландышей. В ту пору ландыши ещё не были занесены в Красную книгу. Собирать их было ни с чем несравнимое наслаждение: осторожно вытягивать из ножен высокий стебель, сплошь унизанный крупными полураскрытыми бубенцами. Это была какая-то особая разновидность ландышей. До сих пор помню их головокружительный запах. В течение 15 минут мы наполнили вьетнамскую плетёную корзинку, и мама предложила мне отнести их Константину Георгиевичу, тяжело больному, уже не выходящему из дома. Паустовский жил на противоположном от нас краю Тарусы, у городского кладбища... Кажется, это было послеобеденное время. Я долго стучалась в высокие тесовые ворота, пока мне не открыла немолодая женщина с крашеными рыжеватыми волосами — видимо, жена. Она ответствовала, что К. Г. отдыхает и выйти не может. Я протянула цветы. Через три минуты она вернулась и передала от него слова благодарности...

В мае 67 года, в разгар школьных выпускных экзаменов, пришла печальная весть о смерти Паустовского. Мама поехала с ним проститься и положить золотую чайную розу — живой прототип его последней книги, состоящей из эссе, посвящённых мастерству художника, и символически озаглавленной «Золотая роза».

В среде московской интеллигенции Таруса с конца 60-х стала превращаться в любимое место отдыха. Приехавшие на три дня в гости — непременно решали на следующий год снять здесь дачу. Любовь к природе и к литературе

сближала, хождение в гости и на совместные прогулки становилось неотъемлемой частью отдыха. И взрослые, и дети на долгие годы обретали в Тарусе друзей и единомышленников...

После смерти В. И. Цветаевой никто на её участке не жил, поваленный над оврагом плетень открывал заросли бузины, шиповника и бурьяна. Спустя год в домик Леры въехали наследники. У Марины Цветаевой, помимо сводной сестры, был ещё и сводный брат Андрей. Вдова Андрея, Евгения Михайловна, две её дочери Ирина Александровна и Инна Андреевна и внучка Таня моих лет (дочь И. А.) и стали обитателями дачи. Почему-то я предполагала встретить в Тане Л. высокомерие и насмешливость: ещё бы — такое родство! — но оказалось совсем иначе. Она была тихой, задумчивой и, как мне показалось, даже подавленной. Несмотря на свои шестнадцать лет, она почти не уделяла своей внешности внимания, была равнодушна к «тряпкам» и абсолютно лишена женского тщеславия... Маленькая, невзрачная, она, тем не менее, обладала каким-то меланхолическим обаянием. Переполненные печалью, яркие, почти бирюзовые глаза (фамильная черта матери и бабушки) и нежный, удивительно красивого тембра голос. Мы подружились. Я стала невольной свидетельницей её короткой и трагической судьбы. Таня часто приглашала меня к себе. На втором этаже под самой крышей была её крошечная комнатка — «чердак-каюта». Я с жадностью впитывала её рассказы про старенькую Анастасию Ивановну (младшая сестра Марины Цветаевой), которой она зимой помогала разбирать книги, и Ариадну Эфрон — дочь М. Ц. «Когда-нибудь, прелестное созданье, // Я стану для тебя воспоминаньем, // Там, в памяти твоей голубоокой, // Затерянным — так далеко-далёко...» К Ариадне Эфрон — тёте Але — Таня относилась с обожанием, шёпотом рассказывала, что она вынесла в лагерях. А. Эфрон не раз гостила у них в Тарусе. К сожалению, я её в Тарусе не застала... Летом 1975 года её незаметно похоронили на Тарусском кладбище, совсем ещё не старую.

Не могу не вспомнить Танину бабушку — Евгению Михайловну — вдову Андрея, сводного брата М. Ц. Агроном по образованию, она провела долгие годы в сталинских лагерях и вышла оттуда несломленной. Высокая, статная, с острым насмешливым умом, она часто обращалась к Тане и её подругам по-французски: «*mersi oui ou mersi non*», — хорошо поставленным голосом уточняла она. И тут же могла разразиться частушкой «Фу-ты, ну-ты — ножки гнуты», — комментируя что-либо претенциозное. Её старшая дочь от первого брака (не с Андреем) — Ирина Александровна Лилеева — в ту пору была ректором Щукинского училища и вела курс зарубежной литературы. Летом у неё часто гостили студенты: молодая Ирина Купченко, Александр Филиппов... Милая и обаятельная в общении со знакомыми, она

была нетерпима и раздражительна с собственной дочерью. Со слов Тани узнала: И.А. считала её рождение ошибкой молодости, во всяком случае, не смущалась это высказывать в её присутствии... Впоследствии я узнала об их трагедии. Таня страдала манией суицида. Первым толчком к этому, со слов Тани, был развод родителей, когда ей было 13 лет, и уход отца из семьи. Таня любила отца, но, с подачи матери, называла — с оттенком осуждения — французским словом «бонвиван» (со стороны отца были французские корни). Однажды он приезжал в Тарусу, и Таня нас познакомила. Не помню черт его лица, но он произвёл на меня в короткой незначущей беседе неизгладимое впечатление неординарного и обаятельного человека. Жизнь И. А. превращалась в ад. Таню опасно было оставлять одну. Инна Андреевна, младшая дочь Е. М. от Андрея, держалась как бы особняком. Стройная, подтянутая, привыкшая к одиноким пешим прогулкам, она не снисходила до беседы с нами. В её моложавом облике угадывались женское одиночество и невестребованность — и, как защитная реакция, язвительность.

По дороге из Тарусы в Пачёво — «в долину грёз», — к полуразрушенному шаткому мостику над обмелевшей речушкой и живописным холмам с плакучими ивами — приобрёл дом в ту пору знаменитый прозаик Ю. Казаков. Он был хорошим знакомым друзей моих родителей. «За него, наверно, тайный гномик // Пишет, нежно пёрышком скрипя...» — таким его в ту пору увидел и представил Е. Евтушенко. У Ю. Казакова был молодой красавец-сеттер Чив, белый с рыжим ухом, у нас спаниель: чёрная с серебряным отливом радостно-стремительная Фрейя. Однажды на прогулке Ю. Казаков неожиданно, слегка заикаясь, предложил: «А давайте делать щенков!»

Ещё одна хрупкая тень вспоминается, когда я оглядываюсь на Вторую Дачную или — по-новому — улицу Ефремова: здесь за высоким забором в летние месяцы в начале 70-х часто останавливалась Белла Ахмадулина. Её изящный, почти балетный силуэт угадывался издали. Однажды я наблюдала безмолвную сцену у калитки, где она поджидала мальчика лет 10 с ведром воды... Подойти к ней на улице и поздороваться я так ни разу и не решилась, хотя с незапамятных времён упивалась её удивительно артистичной манерой исполнять стихи. Незабываемое сочетание трагически вибрирующего голоса и щемящей хрупкости облика... блистательная Белла Ахмадулина — кумир нашей юности.

При недавнем посещении заново отстроенной Тарусы — с фешенебельными отелями, восстановленной церковью на Воскресенской горе, с сувенирными салонами и величественной скульптурой М. Цветаевой у городского парка, меня охватило невольное чувство разочарования и сиротства. Обмелела Ока. Дикие песчаные пляжи превратились в «лягушатники». Где

были некошенные луга и берёзовые рощи, выросли дома преуспевающего класса... Нет, моя Таруса осталась в тех нищих и необустроенных 60–70-х годах прошлого столетия.

## Крупным планом

Со дня рождения моего чудесного отца прошло столетие. Людей его поколения одно время именовали ровесниками революции, теперь всё чаще — называют Победителями, что особенно лестно осознавать потомкам. Сама эпоха способствовала формированию сильного и цельного характера. В почёте были энтузиазм и бескорыстие. Сколько раз я порывалась о нём написать, но сразу после его трагической и нелепой гибели под колёсами шального самосвала — не могла...

Сейчас я всё чаще вижу его молодым, энергичным, в пору расцвета, выпавшего на 50–60 годы двадцатого века. Память поочередно высвечивает то один, то другой момент из раннего детства. Эти разрозненные эпизоды дают мне возможность окунуться в прошлое и ощутить трепетную радость бытия, ещё ничем незамутнённого.

Наша комната на третьем этаже. Ночь. Окна выхолят в сад. Пахнет клейкими тополиными почками. Я не сплю и жду, когда папа заберёт меня из кровати и, сильно раскачивая, занесёт под самый потолок, делая вид, что вот-вот выбросит в окошко...

Ух... Сердце захватывает от страха и восторга. Ещё раз и ещё!

Весна. Выходной день. У папы отличное настроение. Его молодой жизнеутверждающий тенор: «Сердце, тебе не хочется покоя» и «Как много де-вушек хороших» доносится из ванны. Ему нравится танцевальная музыка тридцатых. Когда он ставит «Рио-Риту», мама заметно морщится, она признает только классику. «За кукарачу, за кукарачу я отомщу», — это я, безбожно фальшивя, стараюсь не отстать от пластинок.

Однажды папа предложил научить меня варить манную кашу. Вообще-то, он не любил готовить и делал это только по необходимости, в отличие от мамы, которая священнодействовала на кухне, создавая бесподобные кушанья с загадочными названиями: картошка а ля Пушкин, котлеты Де валяй, пирожные Пти шу и т.д. и т.п. Папа приподнял меня над газовой горелкой, где белой шапкой вскипало молоко, и показал, что левой рукой надо сыпать из кулька тонкой струйкой крупу, а правой непрерывно помешивать. Запомнила на всю жизнь. В те времена нужные продукты надо было искать по всей Москве, и папа брал меня с собой за покупками. Хозяйственные дела превращались в увлекательную прогулку. У него был дар обучать как бы в процессе игры. Мы оба предпочитали возвращаться пешком. На Ленинском проспекте вечером было почти безлюдно. Он нараспев даже не читал,

а проигрывал Лорелею, жестами показывая, как на закате солнце освещает прибрежные скалы и прекрасная девушка над Рейном расчёсывает гребнем золотые волосы. Сначала он читал на языке подлинника, подчёркивая звучание: потом, для сравнения, перевод В. Левика. До сих пор я храню его подарок — «Немецкие баллады» — в чудесном переводе таких корифеев, как Л. Гинзбург и Левик. Конечно же, на всех вечерах самодеятельности я тогда самозабвенно декламировала Лорелею.

Через двадцать лет, в годы перестройки, когда не было уже в живых мамы, родилась моя дочь — его первая любимая внучка. Мы с ним отправились в Детский мир, где уже всё исчезало с прилавков. Он подарил ей сказочный экипаж цвета весенней зелени. Была зима, и мы долго катили коляску по вязкому снегу. Тут я впервые заметила, как ссутулились его плечи, какое уставшее у него лицо, как близоруко он щурится, снимая очки и пытаясь разглядеть номер автобуса. В годы реформ и шоковой терапии у меня родились сыновья. С мужем мы почти расстались, и загруженный работой дед частенько помогал укладывать внуков, импровизируя по ходу действия слова колыбельной песенки от лица Нуф-Нуфа: «Нам не страшен серый волк, серый волк. // Нас, свинúшек, целый полк, целый полк!» Если никак не удавалось их уговорить, он на полном серьёзе обещал вызвать по телефону «дежурного волка».

Отец долго не был седым, и только когда я тяжело заболела, его русые волосы стали белыми как лунь. Ежедневные тяготы жизни не могли отнять у него светлый взгляд на мир и умение разряжать обстановку с помощью шутки. Неслучайно всю жизнь он восхищался Михаилом Зощенко. Ему, прошедшему фронт, был очень понятен и близок герой Твардовского — Василий Тёркин. В 60-е годы он читал маме вслух и с наслаждением комментировал «Тёркина на Том свете».

...Лето. Темно. Мама готовит ужин. Мы с папой гуляем вокруг дома по тополиной аллее, высаженной руками жильцов. Мне в школу ещё не скоро. Я знаю, что этот, девятый по счёту тополь — посажен папой, а через один — мамой. Какие прекрасные, высокие деревья. Я так люблю своего отца — нет в мире человека добрее, смелее и могущественней! Маме я обязана умением плавать (она родом с моря), а папе — коньками, велосипедом, любовью к аттракционам, а главное, он научил не плакать, если расшибу коленки. Солдаты никогда не плачут. Нет слова выше и благородней, чем солдат, так ощущалось мной в далёкие пятидесятые, когда весь воздух был пропитан радостью Победы и благодарностью человеку, отстоявшему мир ценой собственной жизни. Полвека спустя, перешагнув рубеж XXI столетия, мне хочется встать, когда слышу: «...но помнит мир спасённый, // Мир вечный, мир живой, // Серёжку с Малой Бронной // и Витьку с Моховой!». Слова — Евгения Винокурова, замечательного поэта из поколения фронтовиков. Мне довелось в юности бывать

на его семинарах и в редакции тогдашнего «Нового мира», где он и позднее В. Сикорский заведовали секцией поэзии. Смутные давние образы опять возвращают меня к той самой прогулке... Неожиданно папа сгибается в три погибели, берёт в руки палочку и, переходя на дисконт, пародируя старческое шамканье, обращается ко мне: «Помоги, доченька, я ничего не вижу». Мне так страшно представить, его стареньким, что начинаю реветь. Через минуту он смеётся и спокойно объясняет. Это закон жизни: дети вырастают, родители старятся...

А почему человек умирает? Человек — смертен. А род человеческий бессмертен... Он с уважением относился к верующим, старался не нарушать заповеди. Время от времени заходил в церковь помянуть близких... Его математический склад ума требовал неопровержимых доказательств христианских догм и жизни вечной... В преклонном возрасте он не исключал, что первичным может быть и дух. От него я усвоила ныне шокирующую многих теорию Дарвина. Наблюдения за «братьями меньшими» заставляют видеть в их действиях не только инстинкты, но и крупницы разума. Отец очень высоко ценил биологию, особенно генетику, и говорил, что за ней будущее... Долгое время мы выписывали журнал «Природа».

Ещё одно счастливое событие той прошлой жизни. Папа впервые с группой учёных выезжает за границу. Долгие годы он никуда не мог поехать, так как его научные разработки считались секретными. Их группу приглашают для напутствия к Ворошилову. Они летят в Вену. У нас ноябрь: грязь, слякоть, а там цветут розы и в магазинах есть всё, что угодно. Их советскую принадлежность сразу вычислили по старомодному крою долгополых пальто. Тем не менее относились тепло. Хозяева маленьких магазинов нередко оказывались выходцами из России и Украины. Денег командировочным оставляли в обрез, но папа всем привёз подарки: маме — меховой жакет, бабушке — щипцы для зажигания духовки, мне — ленточку и кокосовый орех, похожий на голову мартышки, шариковые ручки — сослуживцам, а себе — ничего. В этом весь он, энтузиаст и бесребреник. В криминальные и голодные 90-е годы, когда многие его коллеги навсегда уезжали за границу в погоне за достатком и благополучием, он наотрез отказался куда-либо ехать: «Зачем? У меня отец крестьянин. Ну а я — крестьянский сын». Это означало, что был он очень неприхотлив в быту. Привык довольствоваться самым необходимым. Гордился деревенской роднёй, их природным умом и тягой к знаниям. Отец его родом из Мещерского края — деревни Марфино, соседней с есенинским селом Константиново — выучился на инженера-путейца. Патриотизм моего отца был врождённым, естественным как дыхание. Вернувшись с фронта, он в числе первых участвовал в разработке водородной бомбы. Всю свою жизнь он посвятил советской науке. Его научные статьи переведены на разные языки мира.

Переступив семидесятилетний рубеж, взяв за основу богатый фронтовой опыт, мой отец написал несколько рассказов и повесть. Получилась хроника солдатских будней, где уживаются трагическое и смешное, высокое и низкое. Главный участник событий — младший лейтенант, вчерашний выпускник университета. Многие военные истории моего отца, выпускника физического факультета МГУ 1941 года, я запомнила с раннего детства, они стали для меня почти хрестоматийными, некоторые эпизоды видятся как бы крупным планом. В конце марта 1945 года (уже никто не сомневался, что день Победы не за горами) моему отцу, младшему лейтенанту, при выписке из госпиталя выдали чужую прожжённую шинель, которая была ему явно велика. Правая рука с задетым нервом безжизненно висела, левую ногу после контузии он волочил. Был тёплый весенний день, снег уже давно стаял. В центре Москвы было особенно оживлённо. Он шёл когда-то любимым найденным маршрутом по Моховой, мимо Манежа и облупленных корпусов старого Московского университета, вдоль чугунной решётки знаменитого дворика, где так часто назначали свидания многие поколения студентов... Навстречу ему, убыстряя шаги, приближалась молодая красивая женщина с сияющими глазами. Невольно подумал: ну и раскрасавица... Через мгновение женщина начала его обнимать, радостно приговаривая «Вернулся, вернулся!» — Это была Лидия К., его сокурсница...

Многие студенты на физфаке тайно и явно были в неё влюблены. Секрет привлекательности был не столько в красоте, сколько в неиссякаемой жизненной энергии. Он даже придумал тогда аксиому: влюблённостью в Лиду надо переболеть, как корью.

На всю жизнь они остались друзьями. Оба с середины сороковых до начала XXI столетия работали в знаменитом московском НИИ. С её слов он знал, что до войны в Артек, куда она устроилась пионервожатой, приезжал Сталин. За столом вождь ухаживал за ней и настойчиво угощал пирожными (восточная любезность или болезненная подозрительность?) Кажется, даже сохранились фото того пионерского чаепития... Замуж она вышла за их сокурсника Олега, сына академика Николая Вавилова, трагически погибшего при восхождении на Эльбрус вскоре после войны. Обстоятельства его гибели казались загадочными.

А вот другой повисший в воздухе кадр... Ещё одна встреча... Ему осталось только спуститься по Белорусскому мосту (родительский дом — в двух шагах от вокзала). Навстречу ему по ступенькам женщина тащит за руку румяного двухлетнего бутуза. Ба, да это же Нина, сестра. Весной 43-го она писала, что родился мальчик. У него сепсис. Практически нет шансов на спасение. Он уже собирался послать ей соболезнующее письмо.

Мои родители поженились перед самой войной... Мама взяла фамилию мужа. Первый отдел вскоре докопался, что её девичья фамилия — немецкого

происхождения. Первоначально у фамилии была даже приставка «фон», но её отсекали ещё в двадцатые годы. Известно, какая судьба ждала ни в чём не повинных обрусевших немцев. По счастью, мой отец тогда нашёлся и намекнул на её якобы еврейские корни.

Ожидать с фронта в психологическом плане труднее, чем просто воевать, считал отец. Пуля не задела — и ладно..., а тут читаешь письмо от близкого человека и не знаешь, последнее оно или нет. «Жди меня, и я вернусь» — хрестоматийные строки нашего первого послевоенного поколения. Мама умела ждать, и судьба дала ей, рано осиротевшей, вытянуть счастливый билет: два её самых близких человека — муж и родной дядя, участник Сталинградской битвы, уцелели.

Некоторые детали её воспоминаний о послевоенной Москве — до сих пор как заноза в сердце: когда они с моим отцом в прожжённой шинели садились в трамвай, люди выразительно поглядывали в их сторону, маме было страшно, что начнут «подавать»... инвалиду. И всё же, всё же... мой отец был тогда очень молод. Страстное желание жить полноценной жизнью, служить науке и Отечеству сделали своё дело. Он научился бриться и писать левой рукой. Ему часто приходилось в лаборатории паять, невольно напрягая и правую, безжизненную руку, и тут он заметил, что пальцы начали шевелиться... Постепенно здоровье возвращалось, к началу пятидесятых он уже не числился инвалидом. Остаётся добавить, что дату моего появления на свет, в праздник «со слезами на глазах», он удивительным образом предсказал за целых четыре месяца... Мне долго не могли выбрать имя, предпочтения родителей не совпадали. Неожиданно кто-то из близких предложил: Ирина, в переводе с греческого — мир. Оно соответствовало моменту и гармонично сочеталось с отчеством. Чуть более полувека мне выпало счастье вместе с отцом встречать этот день...

## Ветеран

Он вернулся прострелен. Контужен.  
И к делам приступил основным.  
Был как воздух стране своей нужен,  
Век двадцатый растаял как дым.

Кто-то свыше подводит итоги:  
Поколение уходит солдат.  
Белой вьюгой заносит дороги  
И чугунные прутья оград.

Всё ж успел он руками своими  
Сад возделать, поправить скамью...  
Мне оставил он доброе имя  
И посмертную славу свою.

## Острова памяти

*(Опоздавшее посвящение Анри Марковичу)*

Я на берегу Средиземного моря. Над головой ветви прекрасного дерева, название которого я не знаю. Крона его почти переплелась с ветвями старой оливы. Чуть дальше пальма, часть её опахал пожелтела, и они уныло свисают длинным пучком жухлой травы. Когда-то я считала несбыточной мечтой очутиться на этом побережье. Не прошло и полвека, как это стало возможным. Но что мне этот рай, если нет со мной моего милого верного друга. Вместе с ним постигали мы радости и печали новой эпохи. Ему было труднее, ибо он был старше меня и молодость его совпала с послевоенной неустроенностью. Война забрала отца, и все заботы легли на хрупкие плечи матери. После её смерти он почувствовал себя осиротевшим ребёнком... Любовь — дружба двух немолодых людей, к которой мы не стремились и даже не представляли, что это такое, стала нашим единственным достоянием. Вместе мечтать о несбыточных путешествиях в далёкие страны и довольствоваться вылазкой на природу в тёплый весенний день. Охалки ландышей, первые грибы на полевой меже и скатерть-самобранка под старой берёзой. Был у нас свой любимец, чёрный бархатный кот, похожий на пантеру. Он был к нему очень привязан, даже посвящал стихи: «Что-то котик одобряет, что-то думает — не так». К сожалению, наш Тишка рано погиб... Потом от моих детей нам перешёл смыслённый ручной крыс. Ласковый и доверчивый, он резко отличался от уличных сородичей. Мы его кормили салатным листом и иногда выпускали из клетки. Всё это на недолгое время скрашивало наш досуг, создавало особый уют. В Доме кино он был «свой человек» и мог доставать контрамарки на все новинки. «Приходи раньше — свободных мест не будет», — он любил точность, а у меня опоздания стали второй натурой. Какое надо было иметь ангельское терпение, чтобы выслушивать моё очередное объяснение, почему опять опоздала... Не удивительно, что за четверть века нашего тандема вкусы и оценки увиденного и услышанного у нас практически совпадали. Мы знали в подробностях родословную друг друга. Теперь у нас было два детства, две юности, две судьбы. Я знала по именам его увлечения: Наташа, Эвелина, Белла... Он — мои «порывы юных лет»... Первая совместная поездка за рубеж ошеломила нас пиршеством красок, создающим иллюзию вечного праздника. Стены нашего отеля были густо увиты гроздьями экзотических

растений. Сквозь прозрачную бирюзу бассейна просвечивало дно с восточной мозаикой. Столы, заваленные свежайшей зеленью и всевозможными яствами, красноречиво приглашали стать участниками праздничного действа. Из сотни предложенных маршрутов мы выбрали прогулку на яхте с остановками на маленьких песчаных островах Эгейского моря. По этому случаю я надела длинное восточное платье с алой каймой. Мой спутник, взойдя на палубу, неожиданно преобразился в стройного патриция с чеканным профилем, как на античных монетах. Белая фуражка с золотыми галунами удивительно шла к его седой шевелюре. Не прекращалась медленная тягучая музыка, мелькали скалистые берега, поваленные колонны и фрагменты строений свидетельствовали об исчезнувшей античной цивилизации.

Несколько раз яхта подходила к островам, названия которых забылись, но память окрестила их райскими. На одном разводили кроликов. Доверчивые питомцы подбирались к самой воде и подбирали сочные арбузные корки, которые бросали им с палубы. На каждой остановке я сходила по лесенке в открытое море. Друг мой всегда просил не заплывать далеко, сам он, к сожалению, не плавал. Во время одного заплыва я заметила на расстоянии нескольких метров маленькие фонтанчики, которые каждые тридцать секунд появлялись и исчезали. На борту высказали догадку, что скорей всего — это морская черепаха, охотится за рыбой. Ближе к полудню из рубки провозгласили: обед! На палубу вынесли красное вино в глиняных сосудах, плоды — не иначе как из райского сада и жареную рыбу, только что выловленную из моря. Это был последний день нашего путешествия, завтра мы улетали в Москву...

После операции его выписали, как теперь положено, на седьмой день. Всё, казалось, прошло успешно. Мы даже решили отправиться в августе на скоростной электричке в Смоленск или ещё куда-нибудь.

А дальше, как он и предполагал, начались осложнения, стали катастрофически отекать ноги, антибиотики не помогали.

В больницу, где оперировали, не захотели брать обратно. Врачи из поликлиники в самый ответственный момент уходили в отпуск... Ехать по скорой он категорически отказывался и всё время повторял, вкладывая в слова мистический подтекст: «они меня там погубят...».

Последние несколько дней он уже не мог приподыматься и говорить, только просил пить, прикладывая пальцы к пересохшим губам. Мне казалось, что, несмотря на состояние забытья, он меня всё-таки узнавал...

В какой-то момент мне стало ясно: там ему станет легче... Врач вызванной скорой попросила меня выйти из комнаты а через несколько минут констатировала остановку сердца. После его смерти я нашла в его письменном столе короткое письмо, где он просил похоронить его рядом с матерью. Все свои сбережения и рукописи он завещал мне, просил, если получится, издать

книгу... Он не был крещёным, и церковь отказалась его отпевать. А ведь он тянулся к Богу, не совершал сознательно зла и никогда не исповедовал атеизм. Значит, надежды встретится там — тоже нет...

Он был для меня воздухом, которым дышишь и не замечаешь, а как же иначе. Каждая станция метро, где мы встречались, каждая лавочка в парке, где мы сидели, строя планы на будущее, вызывают в душе невыносимую боль. Часто я мысленно обращаюсь к нему и чувствую его одобрение или понимаю, что поступаю неправильно и он хочет предупредить меня о последствиях... Мне не хватает его физически: видеть, слышать, дотрагиваться... Говорят, перед смертью человек явственно видит дорогих умерших, понимает: его по-прежнему любят и ждут... Хотя бы эта надежда ещё раз обнять тебя, милый, и попросить прощения — у меня есть:

Встречи радостные возгласы  
Узнаю по крику птиц.  
Проникаешь в сердце воздухом,  
Синевою без границ.

Больше пуда соли съедено.  
Шелестит, звенит листва...  
За невзгодами и бедами  
Ближе не было родства.

В небеса гляжу в рассеянье,  
Где тебе обещан рай...  
За меня цветы весенние  
Обовьют могилы край.

### **«Полон мир теплом, стрекозами...»**

*Светлой памяти Владимира Владимировича  
и Зинаиды Никитичны Литвиновых*

Чтобы устроить мне, первоклашке, сюрприз, мама взяла билеты на балет «Щелкунчик» в филиал Большого. Был во времена оттепели такой замечательный театр... У мамы были свои представления о выходе в свет, видимо, доставшиеся ей от бабушки, которая до 12 лет заменяла ей родителей... Накануне она предусмотрительно достала из шкафа чёрное шёлковое платье, отделанное кружевами, и венские лодочки на шпильке. Я должна была идти в театр непременно в школьной форме.

Отрезав от прозрачного палантина раскалённым на газовой конфорке ножом широкую ленту, мама спрятала её в муфточку и уже в гардеробе нацепила на мои слабые волосёнки белую бабочку.

Билеты были в десятый ряд партера. Спускаясь по ковровой дорожке, я интуитивно ощутила, что многие головы повернулись в нашу сторону.

В пору молодости мамин облик чем-то напоминал образ Незнакомки Крамского. Она знала это и умело выдерживала стиль. Порода, отточенная столетиями, и врождённое умение с шиком носить даже самое простое платье выделяли её из толпы. У недалёких современниц её внешность вызывала «классовое» неприятие, зато редкие представители интеллигенции невольно тянулись к ней, улавливая за обликом «подлинной дамы» некий трагический посыл, напоминание о той навсегда утраченной России, о которой пел и тосковал в своих скитаниях по зарубежью Александр Вертинский: «Тут живут чужие господа ... мы для них чужие навсегда». Нашими соседями по ряду оказалась пожилая пара педагогов. Высокий седой мужчина, загадочно улыбаясь, как бы отвечая на мой незаданный вопрос о предстоящем спектакле, чётким каллиграфическим почерком вывел прямо на моей программке волшебное четверостишие. Почти в ту же минуту закончилась увертюра, занавес исчез, густые зимние сумерки окутали зал, снежные хлопья закружились в воздухе, и полупрозрачные фигурки балетного действия выплыли на сцену... В антракте мы уже прогуливались по фойе с нашими соседями, и мама что-то с ними оживлённо обсуждала, а я с любопытством разглядывала стены театра, увешанные портретами артистов и сценами из спектаклей. В буфет мама меня принципиально не повела, дабы приучить не смешивать наслаждение от прекрасного с мелкими радостями совсем иного порядка. На долгие годы Владимир Владимирович и Зинаида Никитична стали маминими друзьями и впоследствии — моими. Дружба выражалась в регулярной переписке, редких телефонных звонках и единичных визитах... Читая спустя десятилетия мамини письма (жизнь её оборвалась внезапно и рано), я открывала для себя новые пласты её духовной жизни, закрытые для меня в детстве завесой обыденности.

Литературные и художественные пристрастия мамы и её новых знакомых разительно отличались. Владимир Владимирович обожал своего ровесника и тёзку — Маяковского, приветствовал все смелое, дерзкое, новаторское в литературе и театре, посещал спектакли В. Мейерхольда. Мама же, вследствие революции потерявшая родителей, вынужденная всю жизнь скрывать происхождение, не признавала почти ничего из советского репертуара, особенно революционную романтику; в редкие часы отдыха она с головой погружалась в симфоническую музыку и классическую прозу девятнадцатого века. Владимир Владимирович Литвинов, заслуженный учитель русского языка

и литературы, автор многочисленных статей по педагогике, о своей биографии и заслугах не любил распространяться. Начинал он учительствовать в Белоруссии и на юге России, а в тридцатые годы переехал в Москву... В школе его за глаза называли «дядя Володя», он это знал и добродушно усмехался. В их доме — старом флигеле на задворках улицы Воровского (точь-в-точь квартирка, облюбованная булгаковским мастером) — собирались любители изящной словесности, в большинстве своём — его бывшие ученики. В годы оттепели это был прототип литературных салонов, густо расплодившихся в конце двадцатого столетия. Среди его бывших учеников были и Александр Межиров, и знаменитый советский литературовед, впервые открывшая советским читателям Марину Цветаеву, Анна Саакянц. О такой породе стариков, доживающих свой век на Арбате, никто, на мой взгляд, лучше не сказал, чем безвременно ушедший поэт, моя современница — Татьяна Бек:

Такого полёта живут старики и старухи!

Их думы и хлопоты отнюдь не о супе, о — духе!

Было у В. В. ещё одно увлечение — фотография, фотопортреты женщин начала и середины двадцатого века, лица эпохи. Помню тяжёлые бархатные альбомы, их было три, шутивно-торжественно именуемые — портреты красавиц. В одном из них есть фотографии мамы у стен Новодевичьего монастыря, ранней весной. Грустная полуулыбка, ореол шляпки с круглыми полями, предчувствие, недоговорённость. Владимиру Владимировичу удалось сделать тонкий психологический портрет. Эти фотографии оказались последними в маминой жизни. Именно Владимиру Владимировичу я обязана тем, что под влиянием его поэтических строк в своих письмах к маме я попробовала выдать в семь лет первый экспромт про подснежник, торжественно переписанный и отправленный ему на отзыв. В дальнейшем он всегда интересовался, что и как я пишу. Замечания его были верны и никогда не носили обидной формы. Это был педагог и поэт от Бога, бесконечно внимательный и терпеливый по отношению к своим потенциальным ученикам. Память его хранила драгоценные подробности ушедшей эпохи. Ни с чем не сравнимое наслаждение было слушать, как он декламирует любимых поэтов. Как великолепно грохотал его голос в «Облаке в штанах»! Выбор его был безукоризнен, он щедро делился со слушателями лучшим в поэзии. Время от времени он сам писал стихи и рассылал их в письмах многочисленным знакомым. На плечи его жены Зинаиды Никитичны, преподавателя химии в той же школе, ложились все хлопоты по ведению хозяйства и чуть ли не ежедневному приёму гостей. Она же первой выслушивала его рассказы...

Ни раньше, ни позже я не встречала столь обаятельной и одухотворённой женщины. Даже в преклонном возрасте она была прекрасна... Теперь, когда

время от времени я думаю о ней, у меня перед глазами возникает её лицо в ореоле света. Я вижу, как она в очередной раз возвращается с покупками из гастронома на Смоленской в насквозь промокшем берете, продрогшая на ветру, и он с нежностью и благодарностью целует её заледеневшую руку.

Она ушла первой, будучи значительно моложе его. Я никогда не слышала, чтобы она жаловалась на недомогание. Ему просто позвонили из больницы... Разом рухнула и его жизнь. Друзья и бывшие ученики установили очередь помощи по хозяйству. Она все годы оберегала его от быта. Он упорно продолжал писать, вспоминать, это на время заглушало тоску. Накануне Нового года он вышел из дома за хлебом. Надо было пересечь дорогу. Резко затормозивший водитель самосвала грязно и грубо обругал девяностолетнего почти оглохшего старика. Всю жизнь он учил добру и сумел воспитать сотни достойных людей. Его никогда никто не унижал, разве он это заслужил?! Эта ночь стала его последней...

Совсем недавно я обнаружила у себя между книг уцелевшие, несмотря на мои частые переезды, листочки писем, исписанные старинным каллиграфическим почерком. Из-под обломков воспоминаний высветился эпизод блаженного выздоровления то ли от кори, то ли от скарлатины. Мама приносит мне очередное письмо от Владимира Владимировича, а там стихи про розу чайную необычайную, про тщеславного бегемота и целая поэма про пуделя, каждая глава в отдельном конверте. К сожалению, от этих чудесных детских поэм сохранились лишь фрагменты.

Зато в памяти моей живы строфы его взрослых стихов, исполненных печальной музыки. По-старинному скромный и щепетильный, он никогда не посылал их в издательства, а мне и тогда и теперь они кажутся прекрасными: «Это было всё непререкаемо, // умер Амель под ударом Каина...» или из последних писем с дачи, отправленных маме: «Полон мир теплом, стрекозами, // увядающими розами, // Я устал к исходу дня. // Поезд где-то за берёзами и баюкает меня...». И в душе, и в жизни он был истинным поэтом, хотя знали его в те далёкие 60–70 годы XX века как мастера короткого рассказа. Я храню его последнюю подаренную мне книжку «Название не придумано», теперь это раритет.

## **Александр Вертинский**

Уроженец Киева («Киев — родина нежная»), легендарный Пьеро и великий шансонье, вернувшийся на родину, Александр Вертинский невольно стал моим первым проводником в ту потерянную навсегда Россию, где жили мои близкие, о которых сохранились лишь семейные предания. Эхо Серебряного века докатилось до наших дней. Голос его, как воздушный мост, соединил оставшихся выживать после Октябрьской революции в советской России

и тех, кто был вынужден скитаться за пределами родины. Чудом уцелевшие должны были раствориться в общей массе и пополнить численность советских «маленьких людей». Дети и внуки их по негласному семейному правилу хранили обет молчания. Интеллигентные люди в толпе узнавали друг друга по «не общему выражению лица», по забытой учтивости к даме или пожилому человеку, по определённой манере изъясняться. Его ариэтки я воспринимала как некую весть от своих, навсегда потерянных, близких, смутно верящих, что ветвь их на родине, несмотря на все испытания двадцатого века, всё-таки не прервалась и не заглохла. Секрет магнетизма Вертинского, его оглушительного успеха почти в любой аудитории трудно разложить на составляющие. Можно предположить, это удивительный дар перевоплощения, безукоризненный поэтический вкус и умение выявлять полутона. Большой советский поэт Ярослав Смеляков выразил этот парадокс восприятия: «Я могу смеяться над его искусством, // Я могу заплакать над его тоской». Единственный родственник мамы — Аркадий, её родной дядя, дважды репрессированный, чудом уцелевший и даже сделавший неплохую карьеру, жил в переулке за Кудринской площадью. Встречая нас в добром расположении духа, он обычно напевал хорошо поставленным баритоном что-нибудь из репертуара Вертинского: «Сегодня томная луна, как пленная царевна...» или «Вы ошибаетесь, друг дорогой, мы жили тогда на планете другой...». Аркадий успел застать Вертинского живым, был его тонким ценителем и охотно делился впечатлениями. Он не раз говорил, что Вертинского недостаточно слышать, надо видеть его руки. В «Маленькой балерине» они передают весь диапазон чувств. Иногда Аркадий, нарочито манерно растягивая слоги, декламировал Игоря Северянина: «Это было у моря, где ажурная пена...», чем приводил меня в неопи-суемый восторг. Я училась в 8-м классе, мне предстояли экзамены. Однажды я слегка ошарашила маму: а что, если я прочту на экзамене по литературе «Это было у моря...». Естественно, читала я совершенно другое — «К Бахчисарайскому фонтану» Пушкина и «Некрасивую девочку» Н. Заболоцкого с маминой предусмотрительной подачи. В те времена существовали строгие табу для школьников и не только. С возрастом всё явственней чувствуешь связь времён, она становится почти осязаемой. Мама и особенно Аркадий, который был старше её десятью годами, застали отголоски Серебряного века. Жили они тогда в столице Приморского края — Владивостоке, куда советская власть докатилась спустя четыре года. Семья была просвещённой и далеко не бедной. В доме часто гостили артисты и художники. На слуху были стихи Бальмонта и Саши Чёрного. Мой дед Михаил закончил в Петербурге Академию художеств. Через все катаклизмы XX века и начала XXI сохранилась его единственная акварель — эскиз иллюстрации к любимой маминой сказке «Розочка и Беляночка». Михаил и его старший брат Валериан принадлежали

к роду обрусевших немецких баронов (помните — герой Чеховской пьесы Тузенбах?), служили в гвардейских частях Колчака. Валериан был участником русско-японской войны, писал стихи, сохранилась семейная легенда, что некоторые из них были положены на музыку Вертинским без указания авторства, так как «сочинительство» в офицерских кругах было не принято афишировать.

После упрочения в 1924 году на дальнем Востоке большевистской власти и повсеместных репрессий многие из «бывших» были вынуждены эмигрировать, кто в Шанхай, кто в Штаты, в том числе и мамы родители. Мама и Аркадий — младший сын бабушки от второго брака, остались на руках Ольги Иосифовны, ещё недавно известной в городе светской дамы. Мужа её, царского полковника, отца Аркадия, из-за патриотических чувств не пожелавшего покидать Россию, без суда и следствия пристрелил пьяный матрос. Чтобы как-то выжить с сыном и внучкой, Ольга Иосифовна играла на сцене нового Народного театра, преподавала литературу в старших классах, где, несмотря на идеологические запреты, знакомила детей с творчеством А. Пушкина («Евгения Онегина» она знала с юности наизусть). Ненадолго устроилась бонной в английскую семью... Все оставшиеся (не украденные вещи) были распроданы, надо было платить за крышу над головой — к тому времени — жалкую рыбацкую хибару. Последнее, что она сдала в Торгсин, были золотые коронки. Нечеловеческие условия жизни подорвали её здоровье. Незадолго до смерти она писала в Одессу родственникам маминого отца, но никто не откликнулся. Опустившийся в 32-м железный занавес навсегда оборвал переписку и надежду на воссоединение семьи. Я так никогда и не узнала бабушку и дедушку со стороны мамы. Осталось только фото меланхоличной юной дамы с белыми гвоздиками в духе Веры Холодной и то немного, что ребёнком запомнила мама о своих родителях и в качестве семейной легенды передала мне...

В конце 30-х годов Аркадия, начинающего молодого адвоката, дважды сажали, найдя при обыске контрабандную пластинку с записями Вертинского и томик стихов С. Есенина. «Увы, не скрыть породу от пролетарских глаз. Типичный враг народа и «недобитый» класс», после его ухода, в начале нового столетия, пыталась я воссоздать его образ и судьбу. Мама, будучи школьницей, носила ему передачи, почти у 90 процентов её одноклассников были репрессированы члены семьи. Природная харизма и интеллигентская начитанность помогли ему выжить. За увлекательные романы, пересказанные уголовникам, он получал дополнительную хлебную пайку. Кусочек вязкого чёрного хлеба величиной со спичечной коробок он сохранил по выходе из тюрьмы... Прекрасно понимая, что выпустили его ненадолго, Аркадий, не теряя драгоценного времени, купил билет на тихоокеанский пароход себе и племяннице, и они, как герои авантюрного романа, рванули за новой жизнью в Москву.

Благо, компьютеров тогда не было, а биография по анкете у него была что ни на есть самая пролетарская. Подростком в свирепую безработицу он освоил ремесло икрянщика и нанялся в артель, чтобы кормить мать и маленькую племянницу. Меня он считал своей единственной внучкой и нередко баловал. Однажды он подарил мне изданный в Париже тонкий стихотворный сборник А. Вертинского. В те годы имя Вертинского как поэта почти не упоминали. Обычно после ужина дед Аркадий подвигал мне огромное кресло, в котором можно было уместиться с ногами, включал уютный оранжевый свет торшера и под магнетический речитатив Вертинского, записанный на кассету, раздвигались стены и преображалось пространство. Повинуясь его надменно-капризной неповторимой интонации, я буквально физически ощущала и ветер степи Молдаванской, и ласковый золотой песок на побережье океана, и синее стекло Палестинского неба.

По контрасту с идеологически правильной повседневной жизнью советской молодёжи это был прорыв в вечность. Не надо было быть «выездной», чтобы совершать путешествие по времени и земному шару.

Близился конец оттепели. Я ещё не была влюблена, но уже испытывала отроческое томление. Меня потрясла тогда в исполнении Вертинского «Сказка про фею» Максима Горького: «А фея, как гибкая ветка, // В могучих руках извивалась...» Нарастающие аккорды, сопровождающие удивительную мелодекламацию Вертинского, почти физически передают смятение самоубийцы: «И бросился юноша глупый...», а в финале разрывающий сердце голос проклинал богов, отнявших возлюбленную. Слушая Вертинского, я впервые узнала о трагическом эпизоде расстрела юнкеров, умышленно выкинутом из всех тогдашних учебников истории:

Осторожные зрители молча кутались в шубы,  
И какая-то женщина с искажённым лицом  
Целовала покойника в посиневшие губы  
И швырнула в священника обручальным кольцом.

Сцена, словно из кинематографа. Каждая его «аризетка» — законченная новелла с драматическим сюжетом, маленькая пьеса, блистательно исполненная маэстро. Героини его песен притягивают видимой лёгкостью богемного бытия. Любовный шедевр — «Пани Ирена» — история дерзкого объяснения в любви со сцены дочери тогдашнего правителя Польши — Пилсудского, что послужило одной из причин скоропалительного отъезда Вертинского из страны. Её портрет набросан штрихами в стиле модерна начала века: «А крылатые брови, а лоб Беатриче, А весна в повороте лица...» С возрастом я смогла по достоинству оценить «Концерт Сарасате». Ненарочитое милосердие и сострадание — нравственный стержень творчества Вертинского: «...

разве можно топтать каблуками сирень — метафора, над которой не властно время. От нашего родственника я запомнила рассказ о последних минутах жизни великого шансонье, он показался мне символическим. Вернувшись с очередного концерта, Вертинский, подняв бокал для тоста, упал замертво...

Эй вы, кони залётные — слышна песнь с облучка...» — этот залихватский напев про Москву златоглавую, рождённый в эмиграции, спустя столетие вернулся в Россию, словно желая упрочить память и славу первопрестольной. Автор этих слов неизвестен. Для меня она навсегда связана с голосом Вертинского, с годами его скитаний и страстным желанием непременно вернуться на родину. Несовершенная магнитофонная запись конца шестидесятых сохранила его особый московский выговор, речитатив, постепенно набирающий темп: «гимназистки румяные, от мороза чуть пьяные...» — где-то среди этих гимназисток, мне всегда казалось, и бессмертная героиня рассказа Бунина «Лёгкое дыхание».

### **«Был я весь как запущенный сад...»**

*Памяти поэта Валентина Терещенко*

Связывала нас та самая разновидность любви, где до ненависти только шаг, когда и жить вместе не получается, и расстаться невозможно...

Перепутались нежность и ненависть:  
Ни друзьям, ни врагам не понять...  
Мы подолгу не можем не гневаться,  
И не можем объятья разнять.

Безграничная нежность сменялась бурными сценами с хлопаньем дверью, битьём посуды, угрозами разрыва. Больше трёх дней ссоры мы не выдерживали. Будили друг друга телефонными звонками и назначали встречу. Белый флаг перемирия вывешивался либо у меня на Воробьёвых горах, либо у него в Измайловском парке. Выплёскивали накопившееся, выговаривались до изнеможения, и все обиды улетучивались сами собой. А по обратной дороге ещё обирали розовые лепестки шиповника или липовый цвет для чая. Его любимым занятием, порой доходившим до фанатизма, был сбор полезных и целебных растений: верхушки молодой крапивы, одуванчики, сныть, соцветья зверобоя и мелкие дикие груши, из которых он гнал бражку, а гущу пускал на дрожжи. Вспоминаю его удивительные руки (в отличие от меня, неумехи, привыкшей покупать всё готовое), за что бы он ни брался, получалась красивая вещь, он умел вдыхать в неё душу. Из любого подсобного материала, будь то ветка, щепка или пустая консервная банка, выходили: крестик, дудочка, ковшик для воды... Между нами была разница

в 14 лет. Его детский опыт, совпавший с немецкой оккупацией на Украине, мне, родившейся через несколько лет после Победы в благополучной Москве, представлялся апокалипсисом. Мой отец живым вернулся с фронта, его — погиб, хуже — пропал без вести. Мать вынуждена была отдать двойняшек (его и брата), пухших от голода, в детский дом. В его роду были украинские крестьяне, в моём — перемешались все сословия и разные национальные вкрапления в том числе. Рос он в окружении братьев и сестёр, а я — единственная, страдала от излишнего внимания родителей и всё детство мечтала о брате или сестричке.

Годы спустя, обосновавшись в столице, он с неизменной гордостью упирал на свои корни. «Хохлы мы, конечно, хохлы», а в минуты сильнейшего волнения зачастую переходил на украинский:

Гой, ты лышенько, Києвска Русь,  
Ще ж те нимцы з тобою зробили?

Земное притяжение — необъяснимое влечение к друг другу в атмосфере всеобщего неблагополучия заставляло нас совершать порой безумные поступки: сходитьсь-расходиться, рожать детей, и не одного, а троих, когда по иронии судьбы всё рушилось и жить было не на что. Сноровистый отец, он охотно возился с ребятишками, а я всеми правдами и неправдами добывала средства к жизни. Иногда, в добром расположении духа, он озвучивал «будущее»: «...вот подожди, дети подрастут, сядем на велосипеды и отправимся в лес за малиной. Я — впереди, за мной Лера, Гриша — посредине, за ним — Вася, и ты замыкаешь!» Так и не выбрались все вместе! Теперь, оглядываясь назад, мне кажется, что наша встреча не была случайностью, события последующих лет развивались как бы по готовому сценарию. Стояла зима с небывалыми для Москвы сорокаградусными морозами, птицы замерзали на лету, холод пронизывал до костей, и даже в квартирах было трудно согреться. В ноябре неожиданно умерла моя мама. Я и отец были убиты горем. Тоска и неприкаянность вытеснили все эмоции... И вдруг письмо-уведомление о совещании молодых литераторов в Софрино.

Естественно, мы с ним оказались в одном семинаре. Был он значительно старше большинства из нас, вызывающе резкий, с повадками вожака, седеющая шевелюра, из-под насупленных бровей пронизывающий взгляд и неожиданно добродушная усмешка. «Был я весь как запущенный сад...» — пронеслось в голове. Тогда мы впервые услышали его трагически-прекрасные стихи — воспоминания о послевоенном детском приюте, они потрясли не только участников семинара, но и его руководителей — видных поэтов, и теперь, спустя 30 лет, по-прежнему мороз продирает по коже, когда читаешь строки:

А в нашем детдомовском скорбном пределе  
Под утро голодной весны  
Грудные подкидыши жалко ревели  
В дремучих кустах бузины.

Зычный голос, интонации, едва сдерживаемый темперамент выдавали в нём «стреляного воробья». Это был дар претворять тяжесть пережитого в музыку строк. Прищутив глаза, наращивая темп, то повышая, то понижая голос, как искусный гармонист растягивает и сжимает меха, он с головой уходил в исполнение и сливался со своим лирическим героем:

Гений алгебры, атлет —  
Здоровей здоровых —  
Ох, как стану я жалеть  
Девоч чернобровых!

Наш день на совещании был насыщен и расписан по минутам, а вечером все разбивались на компании. Как-то после отбоя мы пересеклись с ним в тускло освещённом коридоре. Ночная тишина располагала к откровенности. Незаметно перешли на личное. «А мы с женой любили друг друга», в голосе его слышались обжигающие нотки, обычно так не вспоминают бывших... «Мне кажется, все страсти остались в XIX веке», — нарочно попробовала я ему возразить, чтобы «завести». «Неправда. Мою мамку отец украл и увёз за тридевять земель». «Как? У кого?» И он посвятил меня в «семейный эпос». Затаив дыхание, слушала я драматическую историю отношений Григория и Гани, его родителей. Ганя была батрачкой в зажиточной семье Григория. Почти всю её родню в тридцатые годы унёс голодомор. У неё был такой удивительной красоты и силы голос, что её даже звали учиться петь в Киев, но «проклятая нищета» не пустила. Григорий играл на всех народных инструментах. С юности оба пели в церковном хоре и нравились друг другу. Как водится, деспотичный отец вынудил Григория жениться на богатой. У красивой и работающей Гани не было отбоя от женихов. Она тоже вышла замуж за другого. Прошло несколько лет, но упрямый Григорий не смирился, однажды он уговорил любимую бежать. Ночью запрягли лошадь, погрузили в телегу скарб, Ганя взяла с собой старую мать, а он — подросткового сына от первой жены.

Никто их не нашёл в новых краях. Возвели дом, и Григорий стал учительствовать в местной школе — преподавать немецкий и математику. Почти каждый год у них прибавлялось по ребёнку, а то и по двое (они с братом — двойняшки). Ганя едва управлялась с возросшим хозяйством. По праздникам Григорий привозил с ярмарки гору провизии и даже однажды корову прицепил к арбе... Накрывали стол, собирали соседей, и Ганя пела. И дальше

бы жили не хуже, но началась война. Григорий ушёл на фронт и сгинул без вести. Так Ганя осталась одна под немцами с выводком: мал-мала меньше. Однажды она не выдержала — сорвала иконы, упала на землю и прокляла Григория за то, что оставил её одну на голодную смерть с оравой ребятишек. Но это было в минуту слабости, один раз. А так мать работала везде, где только могла: и огороды вскапывала у соседей, и почту разносила, и с немецкого молокозавода тайно детям что-нибудь прихватывала, хотя, если бы попалась с поличным, тут же расстреляли бы. И после войны долго ждала Ганя Григория, и даже его любимый борщ оставляла на всякий случай...

Спустя четверть века после гибели «оплаканный дождём» Григорий заново возродился в стихотворении сына. Это неоднократно опубликованное в советское время стихотворение так и называлось: «Отец мой, Григорий Данилович...». Позднее нашему старшему сыну мы дали то же имя в память деда.

По бурным волнам бытия плыла наша утлая лодка, и, если кого-нибудь из нас с головой накрывала волна, другой, спасая, непременно протягивал руку. Так повелось даже тогда, когда мы стали жить в разных концах Москвы. Несмотря на обособленную внутреннюю жизнь, чуяли на расстоянии беду и приходили на помощь.

На моих глазах прошёл он долгий мучительный путь от полного отрицания религии до истовой веры. В последние годы он пишет большой философский труд «Вселенная всевышнего разума», изредка зачитывая нам фрагменты, доказывающие божественную целесообразность мира. Теперь связующим звеном стали дети — трудные подростки — упрямые и своевольные. А с чего бы им быть ласковыми и послушными? Они тоже всего хлебнули с лихвой, упав на социальное дно, откуда выкарабкаться почти невозможно. Поколение загадочных детей Индиго лишили необходимого для полноценной жизни образования и приобщения не к суррогатной, а подлинной культуре. Русское представление об идеале упростили до наглядных роликов американского потребительского рая. И всё же даже тогда ему удавалось найти общий язык с детьми. А я, каюсь теперь, долгое время не могла и не хотела принять их такими.

Только с его уходом я поняла невосполнимость потери и масштаб его личности. Кем он был для меня? Возлюбленным недолгим, отцом детей моих; изгоем, отшельником, мучеником Веры в последние годы? Больше всего любила я в нём художника с неисчерпаемой фантазией. Мощь его поэтического слова потрясла меня с той памятной встречи на совещании... Незадолго до смерти, неизлечимо больной, он отдаляется от близких и уходит в мир «божественных» грёз. Его вселенная заселена силами небесными, он чувствует помощь свыше и слышит ангельские голоса. Своё вынужденное одиночество и невозможность подняться с кровати называет добровольным затвором:

Ухожу от судов и от сплетен мирских,  
В добровольном затворе скрываюсь

Отказываясь от врачебной помощи, продолжает писать, лёжа в постели. Когда-то давно, перед самой свадьбой он подарил мне стихи, оформленные в тонкую рукописную книжечку «Чёртова Дюжина», с посвящением: «Ири-нушке с любовью» — теперь, прощаясь навсегда, он кладёт на мгновение мне на плечи тяжёлые горячие руки, потом протягивает бесплотный листик пергаментной бумаги, где до боли знакомой вязью выведено: «Я один, и ангел Смерти...» О, разве смогу я когда-нибудь забыть его и предать...

### Дачный этюд

В последнюю неделю августа погода обязательно портится. Каждый день дождь. Дачники съезжают один за другим. Я сижу в кабине грузовика, пропахшей бензином, и жду, когда погрузят вещи.

Струи дождя бьют в ветровое стекло и катятся нескончаемым потоком. Сквозь водную пелену контуры деревьев и дом кажутся расплывчатыми, нереальными. Краем бокового зрения мне видно, как мама в резиновых ботиках торопится раскрыть зонт и прямо под проливным дождём склоняется над клумбой... Ночная буря пронеслась над садом, и многие растения не выдержали.

Теперь они беспомощно лежат вверх тормашками, с выдернутыми корнями. Всё, что уцелело, мама делит на две части, добавляет по веточке аспарагуса (декоративная травка) и, обмотав ниткой, направляется к машине: «На, выбирай! Один букет нам, другой — тёте Люсе». Тётя Люся и дядя Миша — мамини сослуживцы, они вместе с нами «пополам» снимают дачу. Их сын Алёша — мой ровесник. Меня вывезли на дачу, чтобы укрепить здоровье. Мама не знает, что делать с моим «никудышним» горлом — удалять гланды? Каждый день в разговоре взрослых я слышу слово «операция». Я ещё не знаю, что это такое, но подсознательно боюсь. Пятилетний Алёша с апломбом объяснил: «Операция — это когда разрезают живот, засыпают туда песок и зашивают». Какой ужас. Зачем?!

Я погружаю нос поочерёдно то в один, то в другой букет и чувствую, как головокружительная свежесть перекрывает неприятный запах бензина... На моих щеках мокрые следы, как от слёз...

Выбирай! Легко сказать... В раннем детстве многое понимается буквально. Мне нравятся два букета и ни с одним из них не хочется расставаться. Муки выбора. Притча про Буриданова осла повторяется на новом витке... Пока

папа с мамой выносят и укладывают в кузов вещи, я рассматриваю букеты, как книжку с картинками, пристально глядяваясь в «лица цветов». В каждом букете солирует махровый мак с лепестками-оборками и выпуклой пахучей сердцевинкой. Почему-то теперь их не высаживают на садовых участках.

Видимо, в моде другие сорта. Зато подобные маки любили изображать на старинных натюрмортах. В разные стороны свисают влажные гроздья душистого горошка — бледно-розовые и фиолетово-алые. Вроде это мотыльки облюбовали место и облепили стебель.

Взгляд выхватывает оранжевый островок. Ноготки — иначе календула (из неё делается мазь и настойка), мама меня ими потчует во время простуды. Кажется, ноготки до сих пор хранят летнее тепло.

Слабое звено в букете — хрупкие ромашки всевозможных оттенков, они как принцесса на горошине, из-за малейшей духоты опускают головки; мама боится, что они не выдержат долгой дороги. На её малой родине в Приморье их называют мимоза (не путать с общеизвестной жёлтой пушистой, которую привозят с юга к восьмому марта). Удивительное дело — память, у раннего Е. Евтушенко: «Но третья память есть у нас, и эта память — память тела...». Пальцы не забыли характерный изгиб и лёгкую шероховатость стебля мака, покрытого волосками, срезанного в дождливое дачное утро полвека назад. С лепестков душистого горошка срываются капли воды. Яркий запах ноготков непостижимым образом переключается с флюидами «Красной Москвы», первых советских духов. Как бы ни была в последнее время сурова ко мне судьба, в какие бы переделки меня ни бросала, я не чувствую себя (папино выражение) обсевком в поле. Если я скажу, что на пиру жизни меня обнесли светом и любовью, это будет неправда... Щенячий восторг бытия никуда не исчезает с годами, а только уползает в укромное место (надо же иногда «зализывать» раны), так несложно выманить его оттуда... Достаточно закрыть глаза и ощутить свежесть и чистоту далёкого лета.

### **«Со всех стихов их посвящения снять...»**

*Памяти Н. Н. В.*

Страшно признаться, но память всё ещё возвращается в «благословенное время застоя» и хранит хрупкие детали той тёплой золотой осени, почти полвека назад. Наше знакомство произошло классически банально: я выгуливала собачку, тогда было не запрещено делать это среди деревьев у дома, а он сидел на скамейке и наблюдал за происходящим. Был он почтенного возраста, с палочкой, седой, крупный, с величественной осанкой. Уже не помню, как завязался разговор, но узнав, что я студентка гуманитарного факультета, он

перевёл разговор в литературную стезю, коснулся вечной темы поэзии и выяснив, что я пишу стихи, неожиданно предложил принести ему тетрадь со стихами. «Среди моих знакомых есть немало литераторов, да и сам я в этом немного разбираюсь, поскольку уже очень давно пишу...» — закончил он с улыбкой.

Через неделю он позвонил мне и пригласил к себе для обстоятельного разговора. Он отворил дверь и торжественно пригласил войти в его «рабочую келью» — маленькую комнату, сплошь заставленную книгами. Придвинул мне кресло, а сам расположился за большим письменным столом. Мне было очень лестно, что такой заслуженный человек (в этом я не сомневалась) похвалил мои стихи и даже просил ещё прочесть. Я не заставила себя долго просить и, поддавшись демону декламации, читала от души недавние романтические опусы. «А вот мои стихи...» — сказал он на прощанье, протянув тетрадку. Дома я с любопытством прочла их, они были строго классические по форме и очень грустные. Запомнился образ корабля со сломанной мачтой и любовный трагический поединок с женщиной-волной... Последнее стихотворение в тетрадке — зимний пейзаж из окна со снегирями на ветке на языке искусства говорил о щемящем одиночестве души автора. Когда я как-то поинтересовалась, почему он не публикует свои стихи, он иронично заметил: один солидный журнал отверг их по причине, что стихи о старом мире, а мы — новый. Наши встречи стали регулярными. Теперь мы познакомились ближе. Н. Н. оказался историком русского зодчества, автором многочисленных статей и книг о древнерусской архитектуре. Он раскрывал книги — изображение того или иного собора и вдохновенно рассказывал, как по сохранившимся фрагментам можно восстановить время его возведения, учил меня различать стиль икон Андрея Рублёва и Феофана Грека, сравнивал позднее барокко со множеством куполов и гармоничную лаконичность белых новгородских храмов XII–XIII столетий.

Время от времени он просил меня прочесть новые стихи. Однажды без всяких задних мыслей я прочла ему: «Как яро ждёт душа самосожженья, как алчет, ненасытная, греха..» — и вдруг услышала непривычно сердитую реплику из его уст: «Ну, вы тогда — начинающая ведьма...». По моим стихам, поняла я позже, он хотел больше узнать о моей личной жизни, но спросить в лоб не решался. В то время я постепенно приходила в себя от потрясений прежней, не сложившейся любви, а время новой влюблённости ещё не пришло...

О одну из встреч мне захотелось расспросить его об Анне Ахматовой, он её лично знал и высоко ценил её поэтический дар. И вдруг услышала нечто наболеевшее возмущённо-восхищённое: «С дурцой она была...» — расшифровывать он не стал.

Говорили мы с ним и о современной женской поэзии. В завершение разговора он достал с полки книжечку Ирины Снеговой «Август» и со словами:

«Вам понравится...» — подарил. Угадал. Он вообще любил дарить то, что ценил сам. Так мне достался томик Пастернака с предисловием уже к тому времени запрещённого Синявского... В одну из подаренных книг он вложил листок с четверостишием: «Вы слишком долго шли из пушкинских времён, // брюнетка хрупкая с Брюлловского портрета. // Цветёте вы, а я, идущий в Лету, // От вас полустолетьем отделён». Я видела, как он радуется моему приходу. В его почтительно нежном поцелуе руки и долгим пристальным взглядом угадывалась аура начала века...

В день очередной нашей встречи оборвалось затяжное бабье лето и выпал снег. Он вспоминал Кола Брюйона — героя Романа Роллана — и настоятельно советовал прочесть эту чудесную книгу, когда резко позвонили в дверь. С корзиной яблок, с рюкзаком за плечами, энергичной походкой вошла пожилая розовощёкая дама. Прямо с порога она прожгла меня взглядом и вдруг неожиданно любезно предложила выпить с ними чай с яблоками. Я взяла яблоко и, начав его грызть, споткнулась о её насмешливый взгляд: фрукты едят вилкой и ножом, не зря же она поставила тарелки и приборы. Не помню, о чём шла беседа за столом. Но я постаралась побыстрее уйти. Больше он меня к себе не приглашал, но иногда звонил. Я ему обещала побывать во Владимире, откуда он родом и поклониться соборам, которые ему удалось отстоять в то варварское время. В холодном промозглом марте он позвонил проститься: они уезжают на дачу до осени. Вечером в тот же день я обнаружила в почтовом ящике тонкий заклеенный конверт:

Со всех стихов их посвященья снять,  
Чтоб вам одной отдать их страсть и нежность,  
Чтоб ничего не изменять,  
Как изменить нельзя костёл Марии Снежной.

Внизу стояла дата и его подпись.

С дачи он так и не вернулся.